

его в свет. Книга эта была напечатана без ведома автора, который написал её исключительно для своего воспитанника, герцога бургунского, внука Людовика XIV. Печатание этой книги было остановлено парижской полицией и оказалось возможным только в голландском городе Гаге. Ядовитость этой ужасной книги состоит в том, что она воспевает добродетели и мудрость таких благородных монархов, которые не ведут разорительных войн и не забавляются великолепными постройками, а развиваются земледелие, поощряют торговлю и водворяют в народе патриархальную простоту нравов. Злость этого памфлета была так очевидна, что Людовик XIV отнял у Фенелона место воспитателя и запретил ему, как обличителю и критику, являться ко двору. Другой, конечно, за такое неистовство просидел бы лет двадцать в Бастилии, но Фенелону при всей его преступности многое можно было простить за его архиепископское достоинство. Через три года после истории о Телемаке герцогу бургунскому пришлось проезжать через город Камбре, в котором находилась епископская резиденция Фенелона. Король был так великодушен, что позволил герцогу повидаться с преступным обличителем войн и построек; но так как герцог был очень молод, а Фенелон очень лукав и опасен, то им строго запрещено было оставаться вместе без свидетелей. Таким образом разрушительная ярость Фенелона была обуздана.

Другим разрушителем оказался на старости лет знаменитый инженер Вобан. Основавши на своём веку тридцать три новые крепости и перестроивши триста старых крепостей, Вобан должен был не только изъездить всю Францию вдоль и поперёк, но и, кроме того, жить более или менее долго в различных местностях своего отечества. Он внимательно всматривался во всё, что его окружало, везде находил бедность и злоупотребления, везде подмечал одни и те же причины народных страданий и, наконец, решил изложить результаты своих наблюдений в политико-экономическом трактате под заглавием: «*Projet d'une dîme royale*» («Проект королевской десятины»). В этой книге он старался доказать, что основная причина народных бедствий заключается в неравномерном распределении налогов, т. е. в том, что чернь и бедняки платят бесконечно много, а богатые и знатные люди, духовенство, дворянство и чиновничество, избавлены от всяких денежных и натуральных по-винностей. Эту книгу, в которой привилегированные тунеядцы были названы *порождением ехидны*, старый маршал представил самому королю с тем трогательным и смелым про-

стодушием, которым отличаются только малолетние ребята и гениальные люди. Вобан, конечно, судил короля по самому себе; и, разумеется, он оказывал Людовику XIV слишком много чести. Книгу Вобана запретили, конфисковали и уничтожили. Старик не вынес этого удара и умер через одиннадцать дней после уничтожения книги. Умер он, конечно, не от того, что на него прогневался повелитель Франции, не от того, что этот гнев мог преградить ему дорогу к дальнейшему повышению или даже отнять у него те преимущества, которыми он пользовался. Вобана сразило то, что он принуждён был в одну минуту жестоко разочароваться. Верования всей его жизни погибли перед его глазами. Он был уверен, что король не знает и что *порождения ехидны* отводят ему глаза от народных страданий. И вдруг оказалось, что король не хочет знать и что все *порождения ехидны* пользуются его сознательным покровительством. Во что же превращались при таких условиях все труды и все подвиги честного патриота и храброго солдата Вобана? Какой смысл получали его триста тридцать три крепости, сто сорок сражений и пятьдесят три осады? Он думал прежде, что он сражался за своё отечество. Теперь оказалось, что своим победами он усилил и возвеличил самых опасных врагов и самых ненасытных грабителей Франции. Сделавши такое открытие, молодой человек круто повернулся в противоположную сторону все свои мысли и всю свою жизнь. Но такому старику, как Вобан, оставалось только назвать себя старым дураком и умереть, проклиная день и час своего рождения.

Буагильбер в книге своей «*Détail de la France sous le règne de Louis XIV*» («Подробное описание Франции в царствование Людовика XIV») доказывал, подобно Вобану, что для спасения и благосостояния государства необходимо равномерное распределение податей. Финансовое искусство, по еретическим мнениям Буагильбера, должно было состоять не в выжимании денег всеми правдами и неправдами, а в разумном возвышении производительных сил нации. За эти дерзкие умствования Буагильбер потерял своё место, но так как у него была при дворе сильная протекция, то его скоро простили и снова определили к прежней должности.

Таким образом, королевская власть, в лице Людовика XIV, получила своё первое предостережение слишком за восемьдесят лет до начала революции. Раскаяться и исправиться было ещё очень возможно. В продолжение всей первой половины XVIII века политические стремления самых смелых

французских мыслителей были чрезвычайно умеренны. Прозвещённый и заботливый деспотизм, обуздывающий ярость клерикалов и расходующий разумным образом государственные доходы, — составлял венец их желаний. Если бы преемники Людовика XIV были похожи на Петра I или на Фридриха II прусского¹⁰³, если бы они понимали необходимость радикальных преобразований, то вся литература оказалась бы их усердной союзницей. Руссо стал бы воспевать высокие совершенства феодальной системы, французский народ продолжал бы гордиться своими верноподданническими чувствами, и революция сделалась бы ненужной и невозможной. Но Филипп Орлеанский и Людовик XV¹⁰⁴ хотели наслаждаться жизнью и не умели возвыситься до каких бы то ни было твёрдых и определённых политических убеждений. Их ребяческие капризы, их скандальная бездарность, их самодовольная фривольность доказали, наконец, французам, что возлагать всё упование на добродетели и таланты отдельных личностей — дело очень рискованное и неблагоразумное. Людовик XIV, Филипп Орлеанский и Людовик XV оказались, таким образом, самыми замечательными популяризаторами отрицательных доктрин, — такими популяризаторами, без содействия которых ни Вольтер, ни Монтескье, ни Дидро, ни Руссо не нашли бы себе читателей и даже не вздумали бы приняться за свою критическую деятельность. Популяризаторская работа Людовика XIV оказалась до такой степени успешной, что народ обезумел от радости, узнавши о его смерти. Конечно, никто, кроме самого Людовика XIV, не мог насадить и воспитать такие нежные чувства в сердцах французского народа, гордившегося своей пламенной привязанностью к династии Бурбонов. А без этого основного фундамента, заложенного самим Людовиком XIV, развитие и распространение отрицательных доктрин было бы невозможно. Смелые и проницательные мыслители могли бы, правда, понимать нелогичности и неточности господствующего миро-созерцания; они могли бы замечать неразумность установившихся междучеловеческих отношений; но они постоянно чувствовали бы своё одиночество и вряд ли даже решились бы делиться с массой своими непочтительными размышлениями. Масса не стала бы их слушать. Масса заставила бы их молчать, потому что масса очень охотно мирится со всякими несообразностями, если только она к ним привыкла и если они не причиняют ей чрезсчур невыносимой боли. Но так как французские Людовики и Филиппы позаботились о том, чтобы эта боль сделалась действительно невыносимой, то размышление, анализ и отрицание оказались настоятель-

ной потребностью для самых обыкновенных умов, и масса, вынужденная своими правителями, направилась поневоле к древу познания добра и зла.

II

Открытие Америки, кругосветное плавание Магеллана¹⁰⁵ и астрономические исследования Коперника, Кеплера и Галилея показали ясно всем знающим и мыслящим людям, что мироздание устроено совсем не по тому плану, который рисовали в продолжение многих столетий папы, кардиналы, епископы и доктора всех высших схоластических наук. Разрыв между свободной мыслью исследователей и вековыми традициями католицизма и протестантизма был очевиден, но очевиден только для тех немногих людей, которые серьёзно посвящали себя научным занятиям. Массе до этого разрыва не было никакого дела, и она продолжала подчиняться традициям, которых несостоительность была доказана с математической точностью. Увлечь массу вслед за передовыми мыслителями могла только невыносимая боль, причинённая ей её любезными традициями. Такая боль действительно явилась к услугам массы в виде тех преследований, которым остроумный король Людовик XIV вздумал подвергнуть протестантов в конце XVII века. Все мы, конечно, слышали слово *драгоннады*, и все мы знаем, что этим словом обозначаются какие-то скверные штуки, которые проделывались французскими драгунами над французскими протестантами. Но далеко не все мы знаем, до каких пределов простиралась скверность этих штук. Представьте себе, что на мирных и беззащитных граждан напускали солдат, которым было дано право забавляться над ними, как угодно, лишь бы только эти граждане не умирали на месте от солдатских увеселений; представьте себе далее, что тогдашние солдаты, получивши такие завидные права, обнаружили остроумие и тонкую изобретательность краснокожих индейцев, захвативших в плен злого и опаснейшего врага. Что они насиливали жён и дочерей протестантов в присутствии родителей и мужей, это уже само собою разумеется и составляет только добродушно-комическую прелюдию их весёлых шалостей. Настоящие же шалости были более серьёзного характера: солдаты втыкали в упорных еретиков булавки с ног до головы, резали их перочинными ножами, рвали носы раскалёнными щипцами, вырывали ногти на пальцах рук и ног, лили в рот кипяток, ставили ноги в растопленное сало, кото-

рое постепенно доводилось до кипения. «Одного из протестантов, — говорит Бокль, — по имени Рио, очи крепко связали, сжали пальцы на руках, воткнули булавки под ногти, жгли порох в ушах, проткнули во многих местах ляшки и налили уксусу и насыпали соли в раны» (т. I, стр. 510). В это же самое время такие же точно эпизоды разыгрывались, по приказанию Иакова II¹⁰⁶, в Шотландии над тамошними пресвитерианцами. Такие вещи, совершающиеся не в глухом застенке, не по приговору судьи, не по правилам уголовной практики, а на улицах или в частных домах, по свободному вдохновению пьяных солдат, — могли бы произвести очень неприятное впечатление даже на такую страну, которая была бы сплошь заселена фанатическими и совершенно невежественными католиками. Но Франция Людовика XIV уже гордилась своей блестящей литературой, своим высоко развитым искусством, своими утончёнными и отполированными манерами. Эта Франция была уже достаточно вылечена от средневекового фанатизма страданиями междуусобных войн и ужасами Варфоломеевской ночи¹⁰⁷. Отменение Нантского эдикта и драгоннады не могли быть особенно приятны даже и для католического населения страны. Протестанты были народ трудолюбивый, промышленный, торговый и зажиточный; у них было много деловых сношений и связей со всем промышленным и торговым миром Франции; все эти связи должны были вдруг оборваться, при этом, конечно, многим католическим купцам и фабрикантам пришлось ухватиться за карман и усомниться в излишнем усердии великого короля. Во всей торговле должно было произойти такое замешательство, которое вероятно доказало многим искренним католикам, что фанатические преследования ведут за собою чувствительные неудобства.

Вслед за отменением Нантского эдикта¹⁰⁸ полмиллиона протестантов выселились из Франции. Они бежали в Голландию, в Швейцарию, в Пруссию, в Англию и даже в Северную Америку. Можно себе представить, какое потрясающее впечатление должны были производить на всех ближайших соседей Франции эти длинные вереницы переселенцев, из которых многие были истомлены нуждой и голодом и из которых каждый сообщал какие-нибудь новые подробности о разыгравшихся сценах угнетения, грабежа, насилия и мучительства. В том поколении, которое видело этих измученных беглецов, ещё были живы страшные предания о насилиях и опустошениях тридцатилетней войны; сближая эти свежие предания с теми картинами, которые развертывались теперь перед его глазами, всякий лавочник, всякий ремесленник,

всякий простой мужик мог думать, что надвигается новая тридцатилетняя война католиков с протестантами. Такой войны не мог желать ни один здравомыслящий человек, тем более, что следы этой войны были ещё слишком заметны на всём пространстве германской территории. Но, глядя на французских изгнанников, каждый неглупый человек легко мог сообразить, что война, подобная тридцатилетней, будет постоянно, как Дамоклов меч, висеть над Европой до тех пор, пока протестанты и католики не перестанут ненавидеть и преследовать друг друга. Когда масса была наведена на подобные мысли живыми и яркими впечатлениями действительной жизни, тогда проповедь всеобщей терпимости становилась в высшей степени уместной, и давнишняя борьба передовых мыслителей против фанатизма получала возможность увенчаться самым блестательным успехом. Мыслители, опираясь на общеизвестные факты, могли сказать массе громко и торжественно, что её страданиям и преступлениям не будет конца до тех пор, пока не уничтожится в её коллективном уме то основное заблуждение, из которого развиваются фанатический энтузиазм и фанатическая ненависть. При всей своей ребяческой нежности к основному заблуждению, несогласному с дознанными законами природы, масса всё-таки была расположена терпеливо слушать серьёзные поучения мыслителей, потому что воспоминания о тридцатилетней войне и бледные лица французских беглецов поневоле наводили массу на непривычные для неё размышления. Католические и протестантские клерикалы с своей стороны старались по мере сил помочь мыслящим проповедникам терпимости разными мелкими гадостями и прижимками, которые каждый день напоминали понемногу массе о крупных страданиях и преступлениях, вытекающих вместе с фанатизмом из основного заблуждения.

Драгоннады одобрялись безусловно самыми блестящими представителями галликанской церкви.

L'illustre Bossuet был ревностным и красноречивым панегиристом этих энергических распоряжений. Либерал и филантроп Фенелон, часто критиковавший действия правительства в письмах к влиятельным лицам, во всю свою жизнь не сказал ни одного слова против преследования протестантов. Подобные факты постоянно вели общество к тому убеждению, что клерикалы давно и навсегда разучились служить делу любви и милосердия и что их одряхлевшая корпорация с каждым годом становится более вредной для общественного развития. На этом убеждении рассуждающая масса начала сходиться с передовыми умами. Мыслители заметили

признаки такого зарождающегося взаимного понимания и, пользуясь благоприятными условиями времени, заговорили против суеверия и фанатизма таким смелым и вразумительным языком, какого никогда ещё не слыхала Европа.

В то самое время, когда Людовик XIV безобразничал и неистовствовал во Франции, один из его верноподданных, протестант Пьер Бэйль¹⁰⁹, издавал в Голландии журналы, книги и брошюры, в которых общепонятным, живым и увлекательным французским языком провозглашалась полная автономия разума и доказывалась совершенная непримиримость его требований с духом и буквой традиционных доктрин. Живя в свободной стране, Бэйль всё-таки не мог высказываться вполне откровенно. Его убеждения испугали и оттолкнули бы его современников. Эти убеждения пришли не по вкусу даже Вольтеру. Поэтому Бэйль, не вдаваясь в догматическое изложение своих собственных идей, ограничивался постоянно вежливой, осторожной, но очень остроумной и язвительной критикой тех понятий, во имя которых сооружались костры и опустошались цветущие области. Тон Бэйля отличался обыкновенно почтительностью и смирением, но в этой смиренной почтительности слышится для каждого мыслящего читателя бездонная глубина сомнения и отрицания. Бэйль высказывал не всё, что думал; но даже и то, что он высказывал, бывало иногда изумительно смело. Так, например, уже в 1682 году он утверждал печатно, что неверие лучше суеверия; поэтому он требовал от государства неограниченной терпимости даже и для крайних еретиков. Это требование повторялось не раз в его брошюрах, написанных по поводу преследования французских протестантов. Далее, тот же неустрешимый мыслитель задавал себе и обсуживал с разных сторон вопрос: может ли существовать государство, составленное из атеистов? На этот вопрос Бэйль не даёт прямого ответа, но весь процесс его доказательств, очевидно, клонится к тому результату, что нравственность может существовать независимо от культа. Эти мысли Бэйля остаются очень смелыми даже и для нашего времени. В журнале Бэйля, «*Nouvelles de la république des lettres*», забавлялся иногда антиклерикальными шалостями остроумный писатель Фонтенель¹¹⁰. В 1686 году, в то самое время, когда французские протестанты терпели жестокое преследование, в журнале Бэйля появилась сатирическая аллегория Фонтенеля, в которой осмеивался весь спор католиков с протестантами. «Письмо,—говорит Геттнер¹¹¹,—писанное будто бы в Батавии, рассказывает, что на острове Борнео спорили о престолонаследии две сестры: Меро (Mero, Rome) и Энег (Epégué,

Genève), т. е. католицизм и протестантизм. Меро признана была без затруднения, но скоро невыносимым пнётом и притеснениями оттолкнула от себя все более свободные умы; все подданные должны были сообщать ей самые тайные свои мысли, приносить ей все свои деньги; высшая милость, которую оказывала королева, было целование ноги, но прежде, чем их допускали к этому, они должны были преклониться перед костями умёрших любимцев. Тогда выступила новая королева, Энег. Она уничтожает все эти жестокие нововведения, требует себе престола, называет себя настоящей дочерью недавно умершей королевы и доказывает эти притязания своим сходством с матерью, между тем как Меро с своей стороны сильно заботилась о том, чтобы скрывать и подменять портреты матери». В том же 1686 году появилась книга Фонтенеля «*Entretiens sur la pluralité des mondes*» («Разговоры о множестве миров»). Эта книга развивала в популярной форме те самые мысли, за которые в начале XVII столетия сгорел на костре Джирдано Бруно. Фонтенель старался провести в сознание всего читающего общества астрономические открытия Коперника и философские идеи о природе, созданные творческой фантазией Декарта. Тут, разумеется, было объяснено подробно, что неподвижные звёзды — не лампады, прицепленные к небесному своду для освещения земли, а великие центры самостоятельных планетных систем, составленных из таких небесных тел, на которых по всей вероятности развивается своя собственная, богатая и разнообразная органическая жизнь. Эта мысль, за которую римская инквизиция сожгла Джирдано Бруно, очень благополучно сошла с рук Фонтенелю, несмотря на то что его книга, изданная при Людовике XIV, произвела на читающую публику сильное впечатление и понравилась даже легкомыслечным светским людям, совершенно неспособным к серьёзным умственным занятиям. В 1687 году Фонтенель издал «Историю оракулов», в которой он разбирал хитрости языческих жрецов, стараясь при этом навести читателя на разные поучительные размышления о современной действительности. Хранители общественной нравственности поняли, наконец, куда клонятся литературные забавы Фонтенеля. Тут всплыла наверх и аллегория о двух царицах острова Борнео. Ключ к её пониманию отыскался, и Фонтенелю было поставлено на вид, что его ожидает Бастилия. Фонтенель тотчас же раскаялся, исправился, стал изливать на иезуитов потоки хвалебных стихотворений и с тех пор навсегда перестал огорчать хранителей общественной непорочности. За такое благонравие Фонтенель сподобился

прожить на свете сто лет. Он умер в 1757 году, когда Вольтер уже господствовал над общественным мнением всей Европы.

III

Людовик XIV умер в 1715 году. Вольтеру было в это время с небольшим двадцать лет, и он уже был настолько известен в парижском обществе своей язвительностью, что, когда по рукам стала ходить рукописная сатира против покойного короля, — эта сатира была приписана Вольтеру, который, впрочем, был совершенно неповинен в её сочинении. За это мнимое преступление Вольтер попал на год в Бастилию. В 1726 году Вольтер ещё раз посидел в Бастилии за ссору с шевалье де-Роганом, который, впрочем, был сам кругом виноват и вообще действовал в отношении к Вольтеру самым бесчестным и позорным образом. Второе заключение Вольтера продолжалось недолго: по словам Бокля — полгода, а по мнению Геттнера — всего двенадцать дней. Кто из них прав, Бокль или Геттнер, этого я не знаю, да это и не важно. Если мы примем цифру Бокля, как более крупную, то и тогда окажется, что Вольтер, проживший на свете почти 84 года и сражавшийся с самыми сильными человеческими предрассудками слишком 60 лет, просидел в тюрьме всего полтора года, да и то по таким причинам, которые с его литературной деятельностью не имеют ничего общего. Этими двумя ничтожными заключениями ограничиваются все враждебные столкновения Вольтера с предержащими властями. Вся остальная жизнь его протекла весело, спокойно, в почёте и в довольстве. Он вёл переписку почти со всеми европейскими государствами, в том числе и с папами. Он со всех сторон получал пенсии и знаки отличия. Он был *gentilhomme ordinaire de la chambre du roi*, камергером Фридриха Великого, официальным историографом Франции и членом французской академии. Он пускался во всякие спекуляции, играл на бирже, принимал участие в государственных займах и поставках для войска; он хитрил, барышничал, кляузничал и даже мошенничал. Он нажил и сохранил большое состояние. Он дошёл до таких известных степеней, которым мог бы позавидовать даже Молчалин. И при всём том он постоянно оставался Вольтером, — тем неутомимым бойцом, тем великим публицистом, который не имеет себе равного в истории и которого имя до сих пор наводит на всех европейских пietistов самый комический ужас. Каким образом мог Вольтер гоняться за двумя зайцами и успешно

ловить их обоих? Каким образом мог он в одно и то же время стоять во главе философской оппозиции и пользоваться милостивым расположением всех высших начальств? Это замечательное явление, которое теперь сделалось уже навсегда невозможным, объясняется, по моему крайнему разумению, только тем обстоятельством, что сила человеческой мысли и возможные последствия умственного движения были в то время ещё очень мало известны всем начальствующим лицам и корпорациям.

Правители XVIII века, подобно средневековым государям и папам, не боялись мысли и преследовали оппозиционных мыслителей не как нарушителей общественного спокойствия, а как нахалов, осмеливающихся думать и говорить дерзости. Наказания клонились совсем не к тому, чтобы предотвратить вред, могущий произойти от деятельности писателя; об этом вреде никто и не думал. Какой, дескать, вред может сделать ничтожный и голодный прохвост, марающий бумагу для того, чтобы зашибить несколько грошей на хлеб и на дрова. Наказания имели только тот смысл, что, мол, не смей ты, бестия и прощалыга, соваться с твоими глупыми рассуждениями туда, где тебя не спрашивают. Наказания были мщением за дерзость и поэтому обусловливались исключительно силою того гнева, которым обуревалась важная особа, имеющая власть карать и миловать. Вследствие этого самой опасной была для писателей именно та отрасль литературы, которая была всего ничтожнее и всего менее могла действовать на общественную жизнь в каком бы то ни было направлении. Всего больнее доставалось сочинителям сатир или пасквилей, направленных против отдельных личностей. Напишите вы, например, игривые стишкы о том, что дворецкий маркиза *A* обладает сизым носом и толстым брюхом, — вас почти наверное засадят в тюрьму, потому что маркиз *A* сочтёт себя оскорблённым в лице своего любимого лакея и, пылая благородной амбицией, непременно выхлопочет на ваше имя *lettre de cachet*. Попробуйте же вы, напротив того, не затрогивая брюха и носа, самым осознательным образом перевернуть вверх дном вашей книгой все господствующие в официальных сферах понятия о юстиции, о финансовом управлении, о сословных отношениях, о международном праве, о каком-нибудь другом предмете первостепенной важности, — и опасность окажется для вас гораздо менее значительной, чем в первом случае. Если же вам желательно, чтобы эта опасность уменьшилась до нуля, то сделайте вот что: посвятите вы вашу книгу тому самому начальствующему лицу, которого идеи вы подвергаете самой разрушительной

критике; кроме того, рассыпьте в вашем введении и в примечаниях множество самых восторженных и самых словесных комплиментов всем тем сильным osobам, которых систему вы отрицаете наповал. Книга ваша пройдёт тогда совершенно беспрепятственно. Все влиятельные лица скажут, что ваши идеи, конечно, довольно опрометчивы, но что вы сами — человек благовоспитанный, скромный и почтительный и что, следовательно, нет никакой надобности огорчать вас запрещением вашей книги или препровождением вашей особы в Бастилию.

С тех пор как существуют человеческие общества и вплоть до самого XVIII века литература считалась постоянно забавой, очень тонкой и благородной, пожалуй, даже возвышенной, но совершенно лишённой всякого серьёзного значения, политического или общественного. Писатель мог быть художником или мудрецом, но в глазах деловых людей он всегда оставался балаганником, кривляющимся для собственного удовольствия и потехи публики. Литература стояла на одной доске с музыкой, живописью и скульптурой. Она могла украшать жизнь фешенебельного общества, но никто не поверил бы, что она может отливать эту жизнь в совершенно новые формы.

В XVIII столетии чтение сделалось насущной потребностью для тех классов общества, которые распоряжаются судьбою народов. Тот материал, которым удовлетворяется эта новая потребность, получил очень важное значение. Фабриканты этого материала сделались изготовителями общественного мнения. Книги, журналы и газеты образовали между тысячами и десятками тысяч индивидуальных умов такую тесную и крепкую связь, которая до того времени была невозможна и немыслима. С тех пор как народилось на свет невиданное диво — общественное мнение целой нации, целой большой страны, — с этих пор, говорю я, писатели сделались для европейских обществ тем, чем были для крошечных греческих республик ораторы.

«Я думаю, — говорил в нижней палате член английского парламента Данверз, — я думаю, Великобританией управляет власть, о верховном преобладании которой до сих пор не было слышно ни в какой век, ни в какой стране. Власть эта, сэр, не состоит в неограниченной воле одного государя, ни в силе войск, ни во влиянии духовенства, это также не власть юбок; это — власть печати, сэр. Материалы, которыми наполняются наши еженедельные газеты, читаются с большим уважением, чем акты парламента; а мнение каждого из этих писак имеет в глазах толпы большее значения, чем мне-

ние лучших политических людей королевства». Эти слова были произнесены в 1738 году, и Бокль говорит, что это — самое раннее указание на возникающую власть печати, которая в первый раз во всемирной истории сделалась выразительницей общественного мнения. В половине XVIII века Малерб, директор департамента по делам печати, вступая во французскую академию, говорил так: «Литература и философия теперь снова завоевали себе ту свободу, какую они имели в древней Греции; они дают народам законодателей; благородное одушевление овладело всеми умами; пришло время, когда каждый, способный мыслить и писать, *чувствует себя обязанным направить свои мысли к общему благу*». Академические речи всегда переполняются общими местами, приятными для слушателей, для правительства, для академии и для всех вообще присутствующих и отсутствующих, живых и умерших. Поэтому-то именно слова Малерба и должны иметь в наших глазах особенную знаменательность. Если та мысль, что литература и философия дают народам законодателей, сделалась общим местом, очень приличным в официальной академической речи, произнесённой важным и солидным чиновником, начальником французской печати, то, разумеется, взгляд на писателей, как на милых забавников, окончательно сменился тем серьёзным взглядом, вследствие которого каждый мыслящий писатель *чувствует себя обязанным направить свои мысли к общему благу*. Если же мы воротимся назад, не очень далеко, всего только к эпохе Людовика XIV, то мы увидим, что литература всё ещё продолжает забавлять публику (*divertir le public*, как говорит о самом себе Пьер Корнель¹¹²) и ни о каком общем благе не смеет подумать. Кто стоит на первом плане во французской литературе XVII века? — Корнель, Расин, Буало, Мольер. За какие услуги? — За чувствительные трагедии, за весёлые комедии, за ничтожные сатиры, и преимущественно за чистоту языка и за изящество стихов. Правда, что в «Гарпюфе» Мольера можно уже заметить отдалённый пророческий намёк на будущую роль литературы. Кто стоит на первом плане во французской литературе XVIII века? — Вольтер, Монтескьё, Дидро, Руссо, Гельвеций, Бомарше. За что? — За такие произведения, которые затрагивают с разных сторон самые важные и глубокие вопросы мироозерцания, частной нравственности и общественной жизни. Ясно, стало быть, что перемена совершилась именно на рубеже двух столетий, XVII и XVIII. Впечатление, произведённое книгами Фонтенаеля и журналами Бэйля, может считаться поворотным

ынуктом в великом превращении литературы из милой забавы в серьёзное дело.

Так как деятельность Вольтера и его ближайших преемников вплоть до 1789 года была первым ярким проявлением серьёзной и влиятельной литературы, превратившейся в общественную силу, то, разумеется, отношения этой деятельности к тогдашним властям были ещё очень неясны, неопределённы и подвержены многим колебаниям. Власти видели, что народилась на свет новая сила, но они ещё не знали, что это за сила, и чего от неё можно ожидать, и до каких размеров может дойти её развитие, и каким образом следует с нею обращаться. Власти смотрели на возрастающую силу литературы не со страхом, а скорее с любопытством и даже тщеславным удовольствием. Властям было приятно видеть, что под их господством плодятся такие чудеса, о которых прежние времена не имели понятия. В простоте души своей тогдашние власти играли с великими идеями так же весело и беззаботно, как невинные дети могут играть с заряженными пистолетами. Конечно, иногда задавались писателям сильные острастки, но именно эти-то острастки и обнаруживают всю невинность и беззаботность тогдашних властей; в этих острастках не было ничего систематического; они давались от полноты начальственной досады и для проявления начальственного величия; их можно было всегда предотвратить выражениями покорности и благовоспитанности, а также влиянием личных связей и сильных протекций. Словом, замечая совершенно новое положение литературы, тогдашние власти, по старой привычке, всё-таки продолжали обходиться с этой обновившейся литературой так, как взбалмошная барыня обходится с комнатной собачкой. У тогдашних властей нехватало характера и последовательности ни на то, чтобы обольстить и усыпить писателей постоянной любезностью, ни на то, чтобы запугать и раздавить их железной строгостью. Поэтому писатели очень сильно не навидели правительство и очень мало боялись его.

Бокль с большим негодованием говорит о тех преследованиях, которым подвергалась в прошлом столетии французская литература. Такое негодование как нельзя более понятно со стороны английского радикала, для которого неограниченная свобода печати сделалась насущной потребностью организма. Но от глубокомысленного историка, подобного Боклю, мы имеем право ожидать и требовать более объективного взгляда на дело. Если мы просто будем сравнивать положение современных писателей с положением писателей прошлого столетия, то мы найдём, быть может,

что положение первых почтнее и безопаснее. Но если мы вследствие этого выведем заключение, что положение литературы с прошлого столетия улучшилось и что мы должны сокрушаться над жестокими страданиями наших предшественников, то мне кажется, что мы сделаем ошибку. Как граждане более благоустроенных государств современные европейцы действительно счастливее своих дедов; но как писатели современные европейцы встречают себе больше препятствий и терпят больше преследований. Сравните общие уголовные законы и уголовное судопроизводство прошлого столетия с общими уголовными законами и уголовным судопроизводством нашего времени. Вы найдёте громадную разницу: с одной стороны, пытка и мучительные смертные казни; с другой стороны, почти полная отмена простой смертной казни, пенитенциарная тюрьма и суд присяжных. Положим, что пенитенциарная система не бог знает какое совершенство, но во всяком случае гораздо удобнее сидеть в тюрьме, чем умирать на колесе или костре. Кроме того, гораздо удобнее защищаться перед присяжными, чем давать показания в застенке. Значит, улучшение есть, и значительное. Спросите же вы теперь, распространяется ли это улучшение на писателей? То есть, задайте себе два вопроса: поступали ли с писателями XVIII века по всей строгости тогдашних уголовных законов? и поступают ли с теперешними писателями по всей строгости теперешних уголовных законов? На первый вопрос история XVIII века ответит вам: «нет». На второй вопрос современная действительность ответит вам: «да». С теперешними писателями обращаются точно так же, как с теперешними обыкновенными преступниками. С писателями XVIII века, напротив того, обращались гораздо деликатнее и гуманнее, чем с тогдашними обыкновенными преступниками.

Значит, положение писателей, а следовательно и литературы, ухудшилось с прошлого столетия, хотя в то же время всякому человеку, писателю и не писателю, жить удобнее в XIX веке, чем в XVIII. Жить удобнее, но писать труднее. При этом, разумеется, Англию невозможно принимать в расчёт, потому что в Англии писатель, как писатель, не может сделаться преступником и не имеет никакого отношения к уголовным законам. Бокль собрал много примеров тех же стоких преследований, в которых он обвиняет французских администраторов прошлого столетия. В чём же состоят эти преследования? В том, что сочинение конфискуется или сжигается *par la main du bourreau* (рукою палача), автор сажается в крепость, в тюрьму. На долго ли, по крайней мере,

сажается? Лет на тридцать или двадцать? Увы, нет! Всего чаще на несколько месяцев. Был ли хоть один из тогдашних писателей сожжён, колесован, повешен или по крайней мере сослан на галеры? Подвергался ли хоть один писатель пытке? Ни один. А между тем пытка была тут как нельзя более уместна. Большая часть самых знаменитых и смелых книг выходила тогда в свет без имени автора, и автор в случае переполоха обыкновенно отрекался от своего сочинения. Вот тут-то бы и следовало вывёртывать ему руки и скручивать ноги для получения чистосердечного признания. Если бы в XVIII столетии смотрели на литературу так же сурово, как смотрят на неё в XIX, то многим энциклопедистам пришлось бы побывать в застенке.

Самое строгое наказание, обрушившееся в прошлом столетии на французского писателя, изображено у Бокля следующим образом: «Де-Форж, например, писавший против ареста претендента на английский престол, был только за это заключён на три года в подземелье, имевшее 8 квадратных футов» (т. I, стр. 554). А в примечании добавлена та подробность, что свет доходил к преступнику только сквозь расщелину церковной лестницы. По нашему теперешнему масштабу — очень сильно, но по тогдашнему масштабу, это — сущие пустяки. Латюд просидел больше двадцати лет в разных тюрьмах единственно за то, что, желая приобрести себе протекцию маркизы де-Помпадур, пустил в ход очень плоскую и неискусную мистификацию. Некоторые из тюрем Латюда были не лучше того подземелья, в котором сидел де-Форж. Драматический писатель Фавар был посажен в крепость за то, что его жена актриса Шантильи не хотела сделаться любовницей Мориса Саксонского¹¹³. Долго ли он просидел, этого я не знаю, но уж и то достаточно выразительно, что его посадили за такую провинность. Наконец, надоено ещё заметить, что *lettres de cachet* (приказы об арестовании) для некоторых важных особ составляли предмет выгодной торговли. За известную сумму денег можно было получить бланк и написать на нём имя того лица, которое, по соображениям покупщика, должно было переселиться в Бастилию. Однажды случилось, что двое супругов смертельно надоели друг другу; обе заинтересованные стороны отправились хлопотать о *lettres de cachet* и обе достигли своей цели, так что мужа посадили в тюрьму по ходатайству жены, а жену по ходатайству мужа. Ясное дело, что личная свобода граждан ставилась ни во что. Человека сажали в тюрьму, человека забывали в тюрьме на десятки лет, власти забывали даже, за что был посажен человек, и никто не на-

ходил это особенно удивительным. Но мало-мальски известный и замечательный писатель не мог быть таким образом забыт и заброшен. Его помнили, о нём хлопотали, его вытаскивали на свободу. Словом, в тогдашнем обществе, в котором было сносно жить только привилегированным классам, писательство было знаком отличия, дававшим некоторые льготы и преимущества. Чем самостоятельнее и смелее был писатель, тем значительнее была его известность, и тем бережнее обходились с ним власти, потому что он в их глазах получал значение аристократа. Всё это происходило, разумеется, от неопытности властей, но именно вследствие этой неопытности официальных деятелей Вольтер имел возможность вести свою пропаганду под покровительством важных особ, охранявших общественную нравственность.

Кому дороги результаты вольтеровской деятельности, тот не должен ставить Вольтеру в упрёк его хитрости, ухаживания и заискивания. Все эти маневры помогали успеху главного дела; сгибаясь часто в дугу, вместо того чтобы драпироваться в мантию маркиза Позы¹¹⁴, Вольтер в то же время никогда не упускал из виду единственной цели своей жизни. Он льстил своим высоким покровителям и превращал их в свои орудия. Вольтер был достаточно мелочен, чтобы искать знаков отличия и тицеславиться ими, но его страстная любовь к идее была так сильна, эта любовь так безраздельно господствовала над всеми его поступками, что он невольно, по непреодолимому влечению и без малейшей борьбы обращал на служение своей идеи все связи и протекции, которые ему удавалось приобретать. Никому из высоких покровителей Вольтера даже и не приходило в голову, чтобы существовала какая-нибудь возможность подкупить или обезоружить Вольтера и отвлечь его ласками или почестями от той смертельной борьбы, которую он вёл против клерикализма. Кто покровительствовал Вольтеру, тот сам становился под его знамя, подчинялся его могуществу и обязывался, по меньшей мере, не мешать распространению рационализма. В мире мысли Вольтер не делал никому ни малейшей уступки, да никто не осмеливался и требовать от него таких уступок. Зато в своих приёмах и аллюрах Вольтер был гибок и эластичен, как хорошо закалённая стальная пружина. В своей частной жизни он готов был разыгрывать беспрекословно все те комедии, которых могло потребовать от него окружающее общество. Эта эластичность и гибкость составляют одну из основных причин и из важнейших сторон его значения. Именно это умение не тратить сил на мелочи и не

раздражать окружающих людей из-за пустяков доставило его пропаганде неотразимое могущество и беспримерное распространение. На массу робких и вялых умов, которые везде и всегда решают дело в качестве хора и чернозёмной силы, действовало чрезвычайно успокоительно и ободрительно то обстоятельство, что антиклерикальные идеи проповедуются не каким-нибудь чудаком, сорванцом или сумасбродом, а со-слидным и важным барином, господином Вольтером, отлично устраивающим свои делишки и ведшим дружбу с самыми знатными особами во всей Европе. Поэтому нельзя не отдать должной дани уважения даже и тому чичиковскому элементу, который бесспорно занимает в личности Вольтера довольно видное место. Чтобы иметь какое-нибудь серьёзное значение, пропаганда Вольтера должна была адресоваться не к лучшим людям, не к избранным умам, а ко всему читающему обществу, ко всему грамотному стаду, ко всевозможным дубовым и осиновым головам, ко всевозможным картофельным и тестообразным характерам. Всей этой толпе надо было говорить в продолжение многих лет: «ослы, перестаньте же вы, наконец, лягать друг друга в рыло за такие пустяки, которых вы сами не понимаете и которых никогда не понимали ваши руководители!» Принимаясь за такое дело, стараясь вразумить таких слушателей, надо было запастись колossalным терпением и затем пустить в ход все средства, способные вести к успеху, все без исключения, беленькие, сиреневые и чёрненевые. Одним из самых могущественных средств была наружная благонадёжность и сановитость господина Вольтера. Надо было приобрести эту внушительную сановитость во что бы то ни стало, хотя бы даже от этого произошёл большой ущерб для идеальной чистоты характера. Вольтеру это приобретение не стоило большого труда, потому что характер его никогда не отличался идеальной чистотой. Этот пронырливый характер, соединённый с бойким, острым, неутомимым, но очень неглубоким умом, был превосходно приоровлен к той задаче, за которую взялся Вольтер. С одной стороны, живой ум, пристрастившийся на всю жизнь к одной очень нехитрой идее, спасал Вольтера от той тины, в которую тянулся его чичиковский элемент характера; с другой стороны, чичиковский элемент предохранял Вольтера от смешного и вредного для общего дела дон-кихотства, которое могло разиться из необузданной любви к идее. Таким образом, Вольтеру удалось соблюдать постоянно ту золотую умеренность, которую презирает и отвергает могучий творческий гений, но которая с неотразимой

силой привлекает к себе умы и сердца респектабельной буржуазии, стоявшей в то время на очереди и составлявшей собою громадную аудиторию знаменитого популяризатора.

IV

Геттнер очень сильно нападает на Вольтера за различные проявления его уклончивости. «И что, наконец, сказать о том, — спрашивает он в пылу добродетельного волнения, — что он всегда, если приходила опасность, дерзко и лживо отказывался от своих книг, вместо того чтобы честно и мужественно признавать их своими? 13 августа 1763 г. Вольтер пишет к Гельвецио¹¹⁵: «Не нужно никогда ставить своего имени; я не написал даже и «*Rucelle*». И этой коварной лживостью он пользуется всегда с изобретательностью, не слишком завидной».

Добродетельное негодование Геттнера смешно до последней степени. После этого остаётся только ругать подлецом того цыплёнка, который с *коварной лживостью* улепётыает от повара, вместо того чтобы *честно и мужественно* стремиться в его объятия. Конечно, повар был бы очень доволен *честностью и мужеством* добродетельного цыплёнка, но трудно понять, какую бы эта *честность* и это *мужество* могли принести пользу, во-первых, пернатому Аристиду, а во-вторых, всей его цыплячьей породе. Положим, что Вольтер исполнил бы желания Геттнера и признался бы *честно и мужественно* в своих литературных грехах. Что же бы из этого вышло? Вольтера засадили бы в Бастилию. Кому же бы это было выгодно, философам или мезуитам? Разве вольтерианцы разгромили бы Бастилию, освободили бы своего предводителя? Ничуть не бывало. Вольтер просидел бы в каморке несколько месяцев, расстроил бы своё здоровье и потратил бы даром то время, которое он мог бы употребить на дальнейшее преследование клерикалов. И всё это только для того, чтобы лишний раз удивить парижскую полицию *честностью и мужеством*. Нечего сказать: цель великая и достойная!

Герои свободной мысли так недавно выступили на сцену всемирной истории, что до сих пор ещё не установлена та точка зрения, с которой следует оценивать их поступки и характеры. Историки всё ещё смешивают этих людей с бойцами и мучениками супранатурализма. Вольтера судят так, как можно было бы судить, например, Иоанна Гусса. Когда Вольтер уклоняется от той чаши, которую Гусс спокойно и смело выпивает до дна, тогда Вольтера заподозревают и об-

виняют в недостатке мужества и честности. Это совершенно несправедливо. Утилитариста невозможно мерять той меркой, которая прикладывается к мистику. Для Гусса отречься от своих идей значило отказаться от вечного блаженства и, кроме того, потянуть за собою в геенну огненную тысячи слабых людей, которых отречение Гусса сбило бы с толку и поворотило бы назад к заблуждениям папизма. Поэтому Гуссу был чистейший расчёт идти на костёр, повторяя те формулы, которые он считал истинными и спасительными. Для Вольтера, напротив того, важно было только то, чтобы его идеи западали как можно глубже в умы читателей и распространялись в обществе как можно быстрее и шире. Хорошо. Книга напечатана, раскуплена и прочтена. На книге нет имени автора, а между тем она производит сильное впечатление. Значит, действуют сами идеи, не нуждаясь в том обаянии, которое было бы им придано именем известного писателя. Только такое действие и соответствует вполне цели и направлению вольтеровской пропаганды. Эта пропаганда должна была приучить людей к тому, чтобы они, не преклоняясь перед авторитетами, ценили внутреннюю разумность и убедительность самой идеи. Затем начинается тревога. Разыскивают автора. Призывают к допросу Вольтера. Вольтер отвечает: «знать не знаю, ведать не ведаю». Скажите на милость, кому и почему он вредит этим ответом? Он только отнимает у иезуитов и у полицейских сыщиков возможность помучить оппозиционного мыслителя. Это с его стороны очень нелюбезно, но ведь он никогда и не обязывался увеселять своей особой иезуитов и сыщиков. А читателей отречение Вольтера нисколько не обманывает и не смущает; читатели посмеиваются и говорят между собою: «Как же! Держи карман! Дурака нашёл! Так сейчас он тебе и признается!» Конечно, всё это очень похоже на тактику бурсаков в отношении к начальству; но что же делать? Бывают такие времена, когда целое общество уподобляется одной огромной бурсе. Виноваты в этом не те люди, которые лгут, а те, которые заставляют лгать.

Описывая старческие годы Вольтера, Геттнер находит новую пищу для добродетельного негодования. «Как прискорбно, — говорит он, — что при всём том и в это последнее и самое блестящее время Вольтера не было недостатка в пятнах! Он попрежнему отирается от своих книг. Мало того, он причащается, ходит на исповедь, чтобы избавиться от клерикальных преследований, между тем как вся его деятельность направлена к уничтожению этих учений и обычаяев. Фарнгаген

несправедливо извиняет эти хитрости и притворство, эти засады и внезапные нападения, это искусное уменье идти вперед и быстро исчезать,—извиняет как позволительные и необходимые вспомогательные средства партизанской войны. Этую временную покорность не только люди благочестивые считали безбожной дерзостью, но даже и люди его партии осуждали как вещь жалкую и трусливую».

Что люди благочестивые были недовольны — в этом нет ничего удивительного. Но я опять-таки повторяю, что Вольтер не подрядился утешать людей благочестивых. Чтобы узнать, похвальны ли, или предосудительны поступки Вольтера, огорчающие Геттнера, надо только поставить вопрос: помогали они или мешали успеху его общественной работы? Придётся ответить: помогали, потому что избавляли знаменитого популяризатора от клерикальных преследований, которые доставляли бы ему лишние хлопоты, портили бы ему кровь, расстраивали бы его здоровье и таким образом отвлекали бы его от общественных занятий. Значит, позволяя себе мелкие хитрости, Вольтер, сознательно или бессознательно, повиновался естественному чувству самосохранения.

Здесь опять свободные мыслители смешиваются с сектатами и верующими адептами. Если бы то, что делал Вольтер, было сделано кальвинистом или лютеранином, тогда дело другое, тогда можно было бы говорить о вещи *жалкой и трусливой*, потому что лютеране и кальвинисты, подобно католикам, придают очень важное значение всем внешним подробностям культа. Но со стороны Вольтера тут нет ничего похожего на отступничество, потому что Вольтер питает самое полное равнодушие ко всякому культу со всеми его подробностями. Вольтер вовсе не хотел сделаться основателем какой-нибудь новой философской религии; он также вовсе не питал фанатической ненавистью к существующему культу; он ненавидел только ту своеокрыстную или тупую исключительность, которая порождает убийство, религиозные преследования, междоусобные распри и международные войны. *Терпимость* была первым и последним словом его философской проповеди. Поэтому он, нисколько не краснея и не изменяя самому себе, мог подчиняться всевозможным формальностям, предписанным местными законами или обычаями. Геттнеру следовало бы все это знать и понимать, тем более, что он в своей книге выписывает из «*Essai sur les moeurs et l'esprit des nations*» следующие размышления Вольтера об английских действиях: «Эти люди согласны со всеми другими в общем почитании единого бога; они отличаются только тем, что у них нет никаких твёрдых положений учения и никаких храмов, и что

они, веря в божию справедливость, одушевлены величайшей терпимостью. Они говорят, что их религия — религия чистая и такая же старая, как свет; у них нет никакого тайного культа, и потому они без угрызений совести могут подчиниться и публичным религиозным обычаям». Кто читал Вольтера, тот знает, что он сочувствовал английским действиям больше, чем каким бы то ни было другим мыслителям; говоря о них и за них, он говорит о себе и за себя; поэтому подчёркнутые мною слова окончательно решают вопрос и доказывают ясно, что, подчиняясь публичным религиозным обычаям, Вольтер не делал никаких жалких и трусливых вещей.

V

Вольтер ненавидел всякие метафизические тонкости, которые, сказать по правде, были ему решительно не по силам. Вольтера ни под каким видом нельзя назвать великим или даже просто замечательным мыслителем. Его ум хватал очень недалеко и был совершенно неспособен проследить какую бы то ни было идею до самого конца, до самых последних и отдалённых её разветвлений. По своим умственным силам Вольтер стоял гораздо ниже многих людей, убивших все свои прекрасные дарования на бесплодные метафизические построения. Вольтер был совершенно застрахован от всякой метафизической заразы своей — извините за выражение, — своей ограниченностью, соединённой с колоссальнейшим тщеславием и с неподражаемым искусством персифлирования.

Ум Вольтера становился втупик на первых двух-трёх шагах отвлечённого философствования; Вольтер терял возможность следить за ходом мысли, и тут немедленно подоспевало к нему на выручку драгоценное тщеславие. Не мог же он, он, Аруэ де-Вольтер, он, великий Вольтер, признать свою бессилие и попросить пардона! Поэтому он тотчас решал безапелляционно, что тут совсем нечего и понимать. Затем он высывал метафизику язык и отделывал его так ловко прелестнейшими шутками и насмешками, что метафизик, который, быть может, был гораздо умнее Вольтера, оставался в дураках и окончательно погибал во мнении всей читающей публики. Вся деятельность Вольтера изображает собою возмущение простого здравого смысла против ошибочных увлечений и бесплодных фейерверков человеческой гениальности. Основатели различных метафизических школ, например, Декарт и Лейбниц, и даже светила схоластики, Фома Аквинский, Рожер Бэкон, Альберт Великий¹¹⁶, обладали бесспорно громадными

умственными силами, но все они имели несчастье, по обстоятельствам времени, потратить большую часть или даже всю совокупность своих сил на такие работы, которые, во-первых, не могли получить никогда никакого практического приложения и, во-вторых, по своей крайней трудности и головоломности, должны были навсегда остаться непонятными и недоступными для огромного большинства обыкновенных или посредственных человеческих умов. Человеческая посредственность, в лице самого блестящего и самого ловкого своего представителя, Вольтера, произнесла решительный и бесповоротный приговор отвержения над всеми этими громадными, титаническими, изумительными, но совершенно бесполезными трудами. Задача Вольтера была чисто отрицательная. Из той громадной кладовой, в которой хранятся умственные сокровища человечества, надо было выкинуть много разного добра; вместе с этим добром надо было выбросить и те шкафы, в которых оно лежало, выбросить для того, чтобы на будущее время человеческие силы не тратились больше на обогащение этих ненужных шкафов новым содержанием. Чтобы произвести это выбрасывание сальной решительностью и беспрепятствием, надо было во всех осуждённых шкафах не видеть ни одной хорошей или привлекательной черты. Надо было ненавидеть сплошной и цельной ненавистью; презирать самым чистым и искренним презрением, неразбавленным никакими проблесками снисхождения или сострадания. А таким образом ненавидит и презирает только *непонимание*, потому что нет того человеческого чувства, нет того человеческого поступка, нет той человеческой мысли, в которых при полном и всестороннем понимании нельзя было бы найти хоть чего-нибудь достойного уважения или любви, или по крайней мере тёплого сожаления. Но так как беспощадное выбрасывание бывает иногда совершенно необходимо, то и непонимание оказывает иногда человечеству драгоценные и незаменимые услуги. Если бы Вольтер был способен понимать логическую красоту и величественность тех метафизических построений, которые ему надо было осмеять и выбросить, то в его сарказмах не было бы той непринуждённости, той неподдельной искренности, той самодовольной грации, той заразительной весёлости, которые сообщали им неотразимую силу и обеспечивали собою успех всей отрицательной работы. Вольтер не был бы Вольтером, если бы у него было побольше ума и поменьше тщеславия. В таком случае мысли его были бы более глубоки, а приговоры менее решительны. По этим двум причинам действие его на толпу было бы менее сильно. Таким образом, чуть ли не все недостатки Вольтера, как умствен-

ные, так и нравственные, шли на пользу его популяризаторской работы.

Когда Вольтер осмеивает различные дурачества умных и глупых людей, тогда он великолепен и неотразим. Но когда он начинает кропать что-то похожее на собственную систему, когда он сам стремится сооружать и мудрствовать, тогда у читателя с невероятной быстротой увядают уши. Особенно печально становится положение читателя тогда, когда Вольтера удручают высшие вопросы общего миросозерцания. Тут уже переполняется мера читательского терпения.

Вольтер — действ. Это бы ещё ничего. Даже трогательно и похвально. Если бы он, подобно Магомету, крикнул просто во всеуслышание: «*Аллах есть Аллах!*», всё обстояло бы совершенно благополучно и всякие возражения сделались бы невозможными. Но Вольтер, к несчастью, томится желанием доказывать основной тезис своей доктрины. Ему, изволите ли видеть, как философу, никак невозможно принимать что бы то ни было на веру, а так как он доказывать решительно не умеет и так как тут вообще на доказательствах далеко не уедешь, то перед несчастным читателем совершается настоящее столпотворение вавилонское. Гипотезы подпираются гипотезами, сравнения, сентиментальные восклицания и эффектные вопросительные тирады принимаются за доказательства; на каком-нибудь одном лядащем факте, неверно подмененном и неправильно истолкованном, сооружается целая сложная теория; сам того не замечая, наш философ на каждом шагу путается в грубых противоречиях; сам того не замечая, оч ежеминутно перепрыгивает с одной точки зрения на другую; словом, получается такая мерзость запустения, которая жестоко компрометирует почтенный тезис, не допускающий и не требующий никаких доказательств.

Любимым коньком Вольтера является идея о целесообразности и предустановленности всего существующего. В самом деле, глаз создан для того, чтобы видеть, ухо — для того, чтобы слышать, зубы — для того, чтобы жевать, желудок — для того, чтобы переваривать пищу. Сделавши за раз столько открытий, Вольтер торжествует победу над дерзновенными скептиками, и затем начинаются чувствительные восклицания о том, как это всё рассчитано, предусмотрено, приспособлено и направлено. Всё это очень назидательно и убедительно, но только Вольтеру следовало бы набрать побольше примеров и повести процесс доказательства хотя бы, например, таким образом: баран создан для того, чтобы есть траву; волк — для того, чтобы есть барана; мужик — для того, чтобы убивать и обдирать волка; маркиз — для того, чтобы тузить и

разорять мужика; а Людовик XIV — для того, чтобы сажать маркиза в Бастилию и конфисковать его наследственное имение. В этой лестнице живых существ каждый пристроен к своему месту, каждый что-нибудь делает и каждый щедро одарён необходимыми для того снарядами или орудиями. Значит, целесообразность выдержана великолепно. Остаётся только поставить и разрешить вопрос: для кого или для чего нужна эта прекрасная целесообразность, к чему она ведёт и с какой стати сгруппированы эти живые существа, которые постоянно обижают и терзают и даже истребляют друг друга? Для кого сооружена вся лестница — для барана, для волка, для мужика, для маркиза или для Людовика XIV? Так как баран, волк и мужик играют тут совершенно страдательные роли, от которых они охотно отказались бы, то лестница построена очевидно не для них, а скорее *против* них. Значит, она построена для маркиза и для Людовика XIV? Прекрасно; но в таком случае только маркиз, пока он не попал ещё в Бастилию, и Людовик XIV могут восхищаться порядком, красотой, гармонией и целесообразностью природы. Для мужика все эти прелести не существуют. Если бы мужику вздумалось философствовать по Вольтеру, то он пришёл бы к таким результатам, которые привели бы Вольтера в неописанный ужас. Если, сообразил бы мужик, в природе всё сделано и делается с тонким расчётом и с умыслом, то, стало быть, когда природа заставляет нас страдать, она также поступает умышленно. «Вот меня, — продолжал бы мужик, — эта милейшая природа донимает каждый день с тех пор, как я себя запомню, то голодом, то холодом, то палками; так это она, стало быть, всё нарочно надо мною куражилась. Спасибо за угощение!» «Позвольте, господин мужик, — заговорил бы Вольтер, понимая, что дело принимает самый неблагополучный оборот, — позвольте! Вас терзает не природа, вас терзают люди». «Господин Вольтер, — отвечает мужик, — людей произвела та же природа. Если в природе всё рассчитано, предусмотрено и целесообразно, то она может и должна отвечать за каждое из своих созданий».

Читатели мои, я сам вижу, что мужик неистовствует, но уверяю вас, что тут виноват не мужик, а Вольтер. Учение о целесообразности в природе ведёт за собою ужасные заключения, подрывающие или по крайней мере извращающие основной тезис вольтеровской доктрины. И от этих заключений вы ничем не отвергитесь до тех пор, пока в мире будет существовать страдание. А страдание неистребимо, потому что вся органическая жизнь основана на беспрерывном взаимном истреблении живых и чувствующих существ. Сам того

не замечая и не желая, Вольтер подвергает себя опасности пасть ниц перед кровожадным Молохом или перед индейским Шивою, на котором надето ожерелье из человеческих костей. Вся беда состоит в том, что вольтеровскую доктрину невозможно *доказать*. Её можно только *принимать на веру*. Кто может — тот и верь. Кто не может... ну, тот, вероятно, и сам знает, что ему делать.

Прогуливаясь с философскими целями по кунсткамере мизандрии, Вольтер, конечно, не мог оставить незамеченным такого слона, как страдание или зло. Вольтер понимал, что этот слон очень опасен для его доктрины, и много было потрачено бесплоднейших усилий на то, чтобы придать проклятому слону сколько-нибудь благопристойную и почтенную наружность. Сначала Вольтер, идя по следам английских мыслителей Шэфтсбери, Попа и Болингбока, старался доказать, что зло совсем не существует и что всё на свете идёт так, как оно должно идти. Тут можно было разыгрывать вариации на ту тему, что страдания дают особенную цену наслаждению и что они так же необходимы в жизни, как тёмные краски в картине. Метафор и красивых слов можно было набрать довольно, но сама по себе эта позиция была так слаба и неудобна, что Вольтер впоследствии бросил её и даже самым жестоким образом осмеял жалкие и плоские софизмы тех приторных оптимистов, которые не сумели исправиться и образумиться вместе с ним. Что Вольтер честно и решительно отказался от тех ошибочных мнений, которые он сам защищал очень долго и очень упорно, — это, конечно, делает величайшую честь его прямодушию. Но ни малейшей чести не делает его философской сообразительности то обстоятельство, что для победы над очевидным заблуждением ему понадобился сильный толчок из окружающего мира. Вольтера поразило то знаменитое землетрясение, которое в 1755 г. разрушило Лиссабон. Задумываясь над этим ужасным событием, он понял, наконец, что зло, существующее в природе, не может быть замаскировано и затушёвано никакими сладостными метафорами. Но чтобы додуматься до этих заключений, не было никакой надобности созерцать погибель португальской столицы. Разрушение Лиссабона не прибавило решительно ничего существенного к тому запасу опыта, которым давно располагали все современники Вольтера, начиная от академиков и кончая деревенскими старухами. Для кого же могла быть новостью та истина, что силы природы очень часто разрушают человеческое благосостояние и посягают на человеческую жизнь? Град, засуха, саранча, наводнение, пожары от грозы, скотские падежи, моровые язвы — всё это было достаточно

известно всему миру за несколько тысячелетий до лиссабонского землетрясения. Каждая десятина, выбитая градом, каждая хижина, сожжённая молнией, каждая телушка, околовшая от заразы, могли бы сказать Вольтеру точь в точь то же самое, что прокричало ему разрушение Лиссабона. Вольтер поступил в этом случае так, как обыкновенно поступает толпа. Он прошёл спокойно и равнодушно перед тысячами мелких явлений и потом остановился с наивным изумлением перед одним крупным фактом, в котором не было ничего нового и удивительного, кроме величины. Чтобы как-нибудь примирить несомненное существование зла со своей основной доктриной, Вольтер ухватывается обеими руками за будущую жизнь. Наконец, умствования утомляют Вольтера, и он смиряется духом. «Вопрос о происхождении зла, — говорит он, — остаётся неразрешимой путаницей, от которой нет другого спасения, как доверие к провидению». «Высшее существо сильно, — говорит он в другом месте, — мы слабы; мы так же необходимо ограничены, как высшее существо необходимо бесконечно; зная, что один луч ничего не значит против солнца, я покорно подчиняюсь высшему свету, который должен просветить меня во мраке мира». И давно бы так следовало распорядиться. Незачем было с самого начала портить чистый мёд верующего смирения гнусным дёгтем философского высокомерия.

Вольтер на старости лет очень сильно воевал с молодыми французскими писателями, дошедшиими до крайнего скептицизма. Несмотря на все эти добродетельные усилия, клерикалы и пиетисты всей Европы до сих пор считают Вольтера патриархом и коноводом французских скептиков и материалистов. И, надо сказать правду, клерикалы и пиетисты несколько не ошибаются. На Вольтере воспитывались все молодые люди, способные и желавшие решать силами собственного ума высшие вопросы миросозерцания. Благодаря литературной деятельности Вольтера, те антиклерикальные идеи, которые до того времени переходили потихоньку от одного мыслителя к другому, получили небывалое распространение и сделались общим достоянием всей читающей Европы. По милости Вольтера сомнение проникло в тысячи свежих и пылких голов. Всех своих читателей Вольтер хотел привести к всеобщей терпимости и остановить на точке зрения деизма. Первая цель была достигнута, но вторая была недостижима: всякое движение идёт обыкновенно гораздо дальше, чем того желал первый коновод; каждое движение обыкновенно вырывается из рук первого защитника, который очень часто становится тормозом и при этом почти никогда не дости-

гает своей цели, если только движение с самого начала было серьёзно и соответствовало действительным потребностям времени и данного общества. В числе тех многих тысяч, которые восхищались остроумием вольтеровских памфлетов против католицизма, непременно должно было оказаться хотя несколько десятков серьёзных, сильных и последовательных умов. Для этих умов очень скоро сделались невыносимыми те внутренние противоречия, на которых Вольтеру угодно было благодушно почивать, как на победных лаврах. Эти умы не могли переваривать ту неестественную смесь поклонения авторитету и знания, которой упивался Вольтер. Им надо было что-нибудь одно, или *credo quia absurdum* или отрицание всего того, что не может быть положительно доказано. Им надо было или воротиться к положительным верованиям, или миновать всевозможные Геркулесовы столбы и выйти в открытый океан совершенно свободного и строго реального исследования. За погибшие души этих людей должен отвечать популяризатор Вольтер, потому что он первый взбунтовал их против клерикалов, у которых в это время, также по наущению Вольтера, была отнята возможность придерживать и придавливать человеческую мысль благонадёжными мерами спасительной строгости. Виновность Вольтера нисколько не уменьшается тем обстоятельством, что он не одобрял крайних выводов, добытых его учениками. Поставивши этих учеников в такое положение, в котором не могут удержаться сильные и последовательные умы, Вольтер обязан отвечать за все дальнейшие умозрения французских мыслителей. Деизм Вольтера составляет только станцию на дороге к дальнейшим выводам Дидро, Гольбаха и Гельвеция.

VI

Чтобы составить себе понятие о громадных заслугах Вольтера, надо судить его не как мыслителя, а как практического деятеля, как самого ловкого из всех существовавших до сих пор публицистов и агитаторов. Вольтер особенно велик не теми идеями, которые он развивал в своих книгах и брошюрах, а тем впечатлением, которое он производил на своих современников этими книгами и брошюрами. Силою этого впечатления Вольтер сделал Европе такой подарок, которого цена растёт до сих пор и будет увеличиваться постоянно с каждым столетием. Вольтер подарил Европе её общественное мнение. Он целым рядом самых наглядных примеров показал европейским обществам, что их судьба находится в их собственных руках и что им стоит только

размышлять, желать и настаивать для того, чтобы управлять по своему благоусмотрению всем ходом исторических событий, крупных и мелких, внешних и внутренних. Вольтер открыл европейским обществам тайну их собственного могущества. Вольтер доказал Европе, что она может и должна быть живой, деятельной и самосознательной личностью, а не мёртвым и пассивным материалом, над которым различные канцелярии, дипломаты и полководцы обнаруживают свои таланты и производят свои эксперименты. Что же именно делал Вольтер для того, чтобы разрешить эту громадную задачу, от решения которой зависит дальнейшая постановка всех прочих общественных задач? Вольтер писал, но писал так, как до него не умели и не смели писать; он затрагивал такие вопросы, к которым никто из его современников не мог относиться равнодушно; он разрабатывал эти вопросы таким неотразимо увлекательным образом, что его читали десятки, а может быть, и сотни тысяч людей. Знаменитость Вольтера росла и выросла, наконец, до таких размеров, до которых никогда, ни прежде, ни после, не доходила известность простого писателя. «Русская императрица, — говорит Кондорсе в биографии Вольтера¹¹⁷, — короли прусский, датский, шведский старались заслужить похвалу Вольтера и поддерживали его благие дела; во всех странах вельможи, министры, стремившиеся к славе, искали одобрения фернейского философа (Вольтера) и доверяли ему свою надежду на успехи разума, свои планы распространения света и уничтожения фанатизма. Во всей Европе он основал союз, которого он был душой. Воинственным криком этого союза было: «разум и терпимость!» Совершена ли была где-нибудь большая несправедливость, оказалось ли кровавое преследование, нарушилось ли человеческое достоинство, — сочинение Вольтера перед всей Европой выставляло виновных к позорному столбу. И как часто рука притеснителей дрожала от страха перед этим верным **мщением**. Цитируя эти слова Кондорсе, Геттнер говорит, что они совершенно справедливы. Итак, сила Вольтера была очень велика. Но эта сила была основана исключительно на доверии и сочувствии читающего общества. Значит, чем выше поднимался Вольтер, тем больше веса приобретали мнения и желания общества. *Рука притеснителей дрожала*, очевидно, не перед Вольтером. Вольтер был только докладчиком, а судьёй являлась читающая Европа. Но для того чтобы этот суд был действительно страшен для притеснителей, надо было, чтобы голос докладчика во всякую данную минуту находил себе десятки тысяч внимательных слушателей. Чтобы вызвать к жизни общест-

венное мнение и чтобы постоянно поддерживать его деятельность там, где оно ещё не привыкло вмешиваться постоянно в общественные дела и где весь строй существующих учреждений враждебен такому вмешательству, необходима необыкновенная сила таланта и непоколебимая твёрдость убеждений со стороны того человека, который при таких невыгодных условиях осмеливается принять на себя великие обязанности публициста. Сосредоточивши на себе внимание всей Европы, Вольтер сделал возможным существование общественного мнения, затем он сам сделался руководителем этого вновь созданного общественного мнения и показал, что общество может и обязано контролировать и судить своих опекунов. А что такое общество? Вы, я, наши братья и сёстры, дяди и тётки, отцы и матери, родственники родственников и знакомые знакомых и так далее — вот вам и общество. Каждый из нас порознь слабее первого встречного полисмена. Но все мы вместе непобедимы и неотразимы. Судите же теперь, какой глубокой благодарностью обязаны мы тем великим людям, которые соединяют нас между собой обаятельной силой живого и горячего слова и которые, сплотивши нас в одну громадную и неотразимую лавину, ведут и направляют нас туда, где мы можем спасать наших братьев или увеличивать и упрочивать нашими приговорами наше собственное материальное и умственное благосостояние. Величайшим из этих великих людей надо признать Вольтера, потому что он первый соединил и повёл за собой читающую Европу к светлому будущему, и ещё потому, что после его смерти в продолжение восьмидесяти восьми лет не появлялось ни одного человека, который был бы равен ему по глубине и обширности своего влияния.

Когда во время революции прах Вольтера был перенесён в Пантеон, тогда пьедестал его памятника получил следующую надпись: «Тени Вольтера. Поэт, историк, философ, он расширил пределы человеческого ума и научил его быть свободным. Он защитил Каласа, Сирвана, де-ла-Барра и Монбальи; он сражался с атеистами и с фанатиками; он внушил терпимость; он отстаивал права человека против феодального рабства». Защищение Каласа и других подсудимых поставлено наряду с самыми замечательными подвигами Вольтера. Так оно и должно быть. Роль Вольтера в этих четырёх уголовных процессах имеет громадное общественное значение, не говоря уже о том, что она делает величайшую честь человеколюбию и великодушию Вольтера. Вмешательство Вольтера в первый раз показало всей Европе, что над высшими трибуналами есть ещё одна инстанция, которая

может пересматривать и кассировать приговоры, судить и осуждать недобросовестных или тупоумных судей, оправдывать и реабилитировать невинных, пострадавших от судейской оплошности или злонамеренности. В Тулузе сын Жана Каласа, Марк-Антон, повесился в доме своего отца. Жан Калас был протестант, а Тулуза населена самыми ревностными католиками. Наперекор всякому здравому смыслу и правдоподобию, какой-то негодяй распустил в городе слух, что Марк-Антон повешен своими родителями за намерение перейти в католицизм. Самоубийцу превратили в мученика. Труп его, выставленный в церкви, стал творить чудеса. Семейство Каласов попало в тюрьму, было заковано в цепи и отдано под суд. Не имея никаких доказательств, кроме народного говора и чудес святого самоубийцы, тулузский парламент приговорил Жана Каласа, 72-летнего старика, к колесованию. Приговор был приведён в исполнение. Дети Каласа разосланы по монастырям и обращены силой в католицизм. Имение казнённого конфисковано, и вдова его осталась одна, без земли и без средств к существованию. Значит, правосудие удовлетворено и дело кончено. Некому поднимать его и некуда его вести дальше. Тулузский парламент — верховное судебное место, и приговоры его, не нуждаясь ни в чьей конфирмации, не могут быть оспариваемы правильным апелляционным порядком. Но Вольтер впутывается в этот благополучно оконченный процесс — Вольтеру нет дела до юридической правильности и до канцелярского порядка. Вольтер раскапывает всю историю с самого начала, печатает своё знаменитое сочинение о терпимости, излагает в нём процесс Каласа как возмутительный пример католического фанатизма, доведённого до людоедства, пишет письма к знаменитым адвокатам, к министрам, к государям, — словом, работает за Каласов неутомимо и бескорыстно целые три года, и всё это делает Вольтер, кумир всей мыслящей Европы, слабый и большой семидесятилетний старик. А ему-то что за дело? Что он за обер-прокурор? По какому праву мешает он тулузскому парламенту колесовать с соблюдением всех законных формальностей тех французов, которые, живя в Тулузе, имеют безрассудство не нравиться ему, всесильному тулузскому парламенту? Такие вопросы предлагались, конечно, многими непоколебимыми приверженцами спасительной юридической правильности, и на такие вопросы пылкие обожатели фернейского философа отвечали, по всей вероятности, что Вольтер, по праву мыслящего человека и честного гражданина, обращается к верховному суду общественного мнения и требует от французской нации, чтобы она защищала своих детей **от**

произвала парламентских советников, ослеплённых религиозной ненавистью или запуганных криками фанатической уличной толпы. Подобные разговоры велись везде, где люди умели читать и понимать французские книги, а в Париже эти разговоры велись так громко, что государственный совет предписал тулузскому парламенту выслать документы по делу Каласа. Весь процесс был пересмотрен, и приговор тулузского парламента объявлен несправедливым. Почти в одно время с Каласом попал под суд протестант Сирван, которого также без малейшего основания подозревали в том, что он утопил в колодце свою дочь, насиливо обращённую в католицизм местным епархиальным начальством. Сирван имел довольно верное понятие о французском правосудии и постарался убежать. Его заочно приговорили к смерти. Имение его конфисковали. «Вольтер, — говорит Геттнер, — и здесь явился защитником и мстителем. Правительство бернское и женевское, русская императрица, короли польский, прусский и датский, ландграф гессенский, герцоги саксонские, по вызову Вольтера, прислали несчастному семейству богатую помощь. Вольтер обратился прямо к тулузскому парламенту, который опять по закону был высшей судебной инстанцией в деле Сирвана; исход процесса Каласа дал перевес свободомыслящей партии, и Сирван был оправдан». Семнадцатилетнего мальчика де-ла-Барра обвинили в том, что он будто бы вместе с своим товарищем д'Эталлондом изломал и опрокинул деревянное распятие, стоявшее на мосту в городе Аббевиле. Прямых улик не оказалось; но зато нашлись добрые и благочестивые люди, которые припомнили сокрушением сердца, что однажды де-ла-Барр и д'Эталлонд, встретившись с процессией, не сняли перед нею шляп и что, кроме того, де-ла-Барр как-то раз у себя на квартире пел легкомысленные куплеты, направленные против чести святой Марии Магдалины. Показания добрых и благочестивых людей решили участь безрассудных молокососов. Считая их преступление вполне доказанным, суд приговорил де-ла-Барра к колесованию, что и было исполнено в 1765 году. Д'Эталлонду же было оказано некоторое снисхождение. Суд приказал вырезать у него язык и отрубить ему руки. Д'Эталлонд не пожелал воспользоваться этими милостями и ухитрился бежать. Прибежал он прямо к Вольтеру, к общепризнанному и возлюбленному патриарху всех европейских вольнодумцев. Тут он с откровенностью ребёнка рассказал все подробности дела. Вольтер проводил д'Эталлонда в Пруссию и рекомендовал его Фридриху II, который принял его к себе на службу и дал ему офицерский чин. Вольтер, с своей стороны, в превосходном мемуа-

ре раскрыл перед читающей Европой все закулисные пружины той грязной интриги, которая погубила де-ла-Барра. Эти пружины состояли в том, что один влиятельный господин, Беллеваль, начал строить куры тётке де-ла-Барра, настоятельнице женского монастыря. Получивши на свои авансы презрительный отказ, Беллеваль решил мстить и направил на молодого ветренника де-ла Барра всех клерикалов и тартюфов города Аббевиля и его окрестностей. В результате получилось колесование. Старуха Монбалы выпила не в меру и умерла от апоплексического удара. Зеваки и сплетники города Сент-Омера увидали в этой скоропостижной смерти следы насилия и взвели подозрение на сына покойницы и на его жену. Подозрительные личности были арестованы и отданы под суд. Доказательств не нашлось никаких, но судьи, стремясь к исправлению общественной нравственности, не пожелали останавливаться на разных мелочных соображениях и смело приговорили обоих обвинённых к мучительной казни. Монбалы колесовали и сожгли, но казнь его жены была отложена по случаю её беременности. В это время Вольтер послал мемуар об этом деле в министерство. Процесс пересмотрели, казнённого Монбалы объявили невинным. Жену его, приговорённую к смерти, освободили.

Эти четыре процесса следовали один за другим, с очень короткими промежутками времени. Самый ранний из них, процесс Каласа, был решён в 1762 году и перерешён в 1765 году. Самый поздний, процесс Монбалы, разыгрался в 1770 году. Едва успевало утихнуть волнение, возбуждённое в обществе одним вопиющим насилием, как начинались немедленно толки о новой, такой же очевидной и возмутительной несправедливости. В течение восьми лет раскрылись четыре юридические убийства, и высшие государственные власти заодно с общественным мнением страны официально признали их убийствами. Два из этих убийств были совершены на юге Франции и два — на севере. Значит суды были одинаково ревностны, проницательны и справедливы на всём пространстве французской территории. Четыре гадости были открыты по инициативе частного человека, дряхлого и больного старика. Но сколько же гадостей оставалось в неизвестности? Сколько их совершилось в последние десятилетия? Сколько ещё совершится в ближайшие двадцать или тридцать лет? И кто может сказать наверное, что эти будущие гадости не обрушатся ни на него, ни на его ближайших родственников и друзей? Ведь нельзя же, в самом деле, тащить все решённые процессы к Вольтеру, да и сам Вольтер всё-таки не способен воскрешать своими защитительными мемуарами

колесованных и сожжённых людей. Питая свой дух такими мрачными и неуспокоительными размышлениями, каждый француз, способный подмечать и обобщать явления общественной жизни, должен был придти к тому результату, что суды его родины, как две капли воды, похожи на аулы предпримчивых горцев, которые без малейшей опасности для самих себя распространяют ужас и опустошение по всем окружающим местностям. После этого не трудно было добраться и до того практического заключения, что общество, уже возвысившееся до самосознания, обязано из чувства самосохранения сосредоточить все свои силы против этих воинственных аулов и против всего того, что поддерживает и упрочивает их существование.

Вступаясь за мучеников французского правосудия, Вольтер не развивал никаких отвлечённо широких теорий. Он просто и спокойно проводил самые широкие теории в действительную жизнь. Он не рассуждал о *souveraineté du peuple*. Он прямо и решительно прикладывал её к делу. Он не проповедывал против старого зла, а фактически уничтожал его. Процессы Каласа и всех других вольтеровских *protégés* нанесли старому порядку более жестокие удары, чем могли бы то сделать десятки томов самой тонкой, остроумной и разрушительной теоретической критики. Защитительные мемуары Вольтера были уже не словами, а делами. Это уже не подготовление переворота, а настоящее его начало. Здесь живая сила общественного мнения, живая воля мыслящего и энергического народа действительно, на самом деле стали выше всех существующих законов. С этой минуты эти старые, средневековые законы могут уже считаться отменёнными. Затем остаётся только облечь свершившийся факт в юридическую форму. Об этом уже позаботились деятели учредительного собрания, открывшего свои заседания через одиннадцать лет после смерти Вольтера.

Блестящую кампанию, открытую Вольтером против старых французских судов, тесно связанных со всей совокупностью старых общественных учреждений, закончил достойным образом Бомарше, знаменитый автор «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро». Бомарше находился в гораздо менее выгодном положении, чем Вольтер. Во-первых, Вольтер был знаменитейшим человеком во всей Европе, а Бомарше, вступая в борьбу с парижским парламентом, был ещё совершенно неизвестен. Во-вторых, Вольтер вступался за других, а Бомарше — за самого себя. В-третьих, вольтеровские процессы были процессами уголовными: тут шло дело о человеческой жизни и о чести целых семейств; тут являлись в

виде декораций и атрибутов цепи, застенки, орудия пытки, костры и виселицы; тут было чем расшевелить в читающей публике любопытство, сочувствие и негодование. Процесс Бомарше, напротив того, был простым тяжебным делом, возникшим из-за незначительной денежной суммы и запутанным происками и интригами обеих состязавшихся сторон. Бомарше по-настоящему при обыкновенных условиях не мог бы даже рассчитывать на сочувствие публики, потому что он сам был далеко не прав, хотя, разумеется, противники его были ещё более виноваты. Но ненависть общества ко всем частям старого государственного порядка была так беспредельна, что общество всё простило смелому Бомарше и тотчас превратило его в героя и в великого деятеля, как только оно увидело в нём человека, способного наносить господствующей системе сильные и меткие удары. Дело было вот как. Финансист Дюверне, находившийся в постоянных деловых сношениях с ловким и предприимчивым Бомарше, умирая, признал в своих бумагах, что он остался должен Бомарше пятнадцать тысяч ливров. Наследник Дюверне, граф Ла-Блаш, вздумал оспаривать этот долг. Бомарше, никогда не отличавшийся уступчивостью, начал процесс в конце 1771 года. В 1772 году дело, решённое первой инстанцией в пользу Бомарше, перешло в парламент, известный в истории под именем парламента Мопу¹¹⁸. Это было собрание, произвольно созданное королём Людовиком XV и его министром Мопу; оно заменило собою парижский парламент, который за свою непокорность королевской власти был уничтожен и отправлен в изгнание. Бомарше отправился к докладчику этого парламента Гезману, но не успел повидаться с ним, и окольными путями получил тот благой совет, что для умилостивления докладчика следует поднести подарок его жене. Бомарше с благодарностью принял этот совет и представил госпоже Гезман сто луидоров, золотые часы с алмазами и пятнадцать луидоров для передачи какому-то секретарю. Бомарше, как непобедимый кремень и кулак, вёл всё это дело с такой цинической 'откровенностью', что обязал госпожу Гезман отдать назад все сокровища, если процесс будет проигран. Госпожа Гезман, которой подобные объяснения и сделки были нипочём, совершенно согласилась на эти условия. Процесс проигрался, потому что Ла-Блаш с своей стороны порадовал докладчика более убедительным приношением. Бомарше потребовал назад свои дары. Madame Гезман отдала ему часы и сто луидоров, но с пятнадцатью луидорами она почему-то ни под каким видом не хотела расстаться. Бомарше, взбешённый донельзя проигрышем процесса, тотчас же так

громко разблаговестил скандальную историю о луидорах, что сам Гезман очутился в очень неудобном и опасном положении. Гезман решился на отчаянный маневр. Решительно отрицая всю историю о часах и о деньгах, он подал в парламент форменную жалобу на Бомарше, как на клеветника. Теперь Бомарше очутился в тисках: если с его стороны не было клеветы, то значит была попытка подкупить членов суда. Альтернатива была печальная. Дело, как видите, пакостное во всех своих подробностях. Бомарше вышел из этого дела победителем, героем, мучеником, любимцем всей Европы, добродетельным Цицероном и чуть-чуть не отцом отечества. «Бомарше, — говорит Геттнер, — обратился к публике с четырьмя мемуарами. Неумолимо и с непреклонным мужеством, гневом и одушевлением преследуя врага во всех его убежищах и укреплениях, остроумный до наглости и шутовства и в то же время доходящий в нравственном раздражении до истинно поразительной возвышенности, он приводит целое общественное мнение в самое живое движение, делает свой интерес интересом всех, становится мстителем нарушенной справедливости и с проницательностью злобы выставляет все те страшные интриги и преступления, от которых страдало тогда французское правосудие. Впечатление, произведённое этими мемуарами, прошло все слои населения, даже всю Европу. Первый мемуар в первые же два дня продан был в числе десяти тысяч экземпляров; со второго мемуара его процесс сделался, как тогда выражались, *la cause de la nation*, можно даже сказать — процессом всего образованного мира». В своём четвёртом мемуаре Бомарше высказал уже самым категорическим образом, как общепризнанную истину, мысль о верховном господстве нации. «*La nation*, — говорит он, — *n'est pas assise sur les bancs de ceux qui prononcent; mais son oeil majestueux plane sur l'assemblée. Si elle n'est jamais le juge des particuliers, elle est en tout temps le juge des juges*». («Нация не сидит на скамьях тех людей, которые произносят приговоры; но её величественный взор носится над собранием. Если она никогда не бывает судьёй частных лиц, то она всегда бывает судьёй судей»). Кажется, ясно и выразительно. Слышатся даже ноты той вкрадчивой лести державному народу, без которой впоследствии не могла обойтись ни одна речь революционных ораторов. А между тем, когда Бомарше писал свой четвёртый мемуар, тогда ещё жили на свете старики, помнившие век того короля, который считал себя государством. К числу этих стариков принадлежал и сам Вольтер. Всё расстояние

от чисто турецкого деспотизма до самодержавия народа было пройдено двумя поколениями. Крупные то были люди! Умели они и веселиться, и работать. Парламент Мопу в начале 1774 года приговорил к ошельмованию (*blâme*) как госпожу Гезман, так и её противника Бомарше. Ошельмование это влекло за собою потерю всех гражданских прав и состояло в том, что осуждённого ставили на колени, а президент произносил во всеуслышание установленную формулу: «*la cour te blâme et te déclare infâme*» («суд щельмует тебя и объявляет тебя бесчестным»). Собственно говоря, решение парламента было совершенно справедливо: он ошельмовал одну сторону за то, что она брала взятки, а другую — за то, что она их предлагала. Мудрее этого и Соломон ничего бы не придумал. Но французской нации было в то время не до мудрости парламентских советников и не до справедливости отдельных приговоров. Нация стремилась в то время всей силой своих мыслей и желаний к полному обновлению всех своих учреждений и к неограниченному господству над всеми отправлениями своей жизни. Когда, находясь в таком напряжённом ожидании грядущих событий, нация слышала сильную и верную музыку, тогда нация называла музыканта героем и великим деятелем, нисколько не осведомляясь о том, ведёт ли этот драгоценный музыкант трезвую и целомудренную жизнь. Нация была права в своём инстинкте. Когда целое общество переживает тяжёлый и мучительный кризис, тогда тихие добродетели частной жизни отступают на самый задний план, оставляя поле действий совершенно открытым для тех могучих и блестящих дарований, от которых зависит решение великой общественной задачи, поставленной на очередь медленным и грозным течением исторических событий. Поэтому немудрено, что нация совершенно забыла проступок Бомарше и запомнила только его великолепные мемуары. «Бомарше, — говорит Геттнер, — явился перед судом; но общественное мнение сделало из осуждения Бомарше осуждение парламента. Бомарше получил бесчисленное множество визитов. На другой же день после осуждения принц Конти пригласил заклеймённого на блистательный пир. «*Nous sommes, — говорил принц в своём письме, — d'assez bonne maison pour donner l'exemple à la France de la manière dont on doit traiter un grand citoyen tel que vous*» («Мы из достаточно хорошего дома, чтобы показать Франции пример, каким образом следует обращаться с великим гражданином, подобным вам»). Везде, куда ни показывался Бомарше, он принимаем был с восторженными криками. Парламент Мопу не мог сопротивляться этому

удару. Нападения в стихах и прозе становились всё многочисленнее и сильнее. Он влачил своё существование ещё несколько месяцев, презираемый и гонимый всеми.

Принц королевской крови Конти¹¹⁹ не умел составить себе даже и приблизительного понятия о том результате, к которому ведёт блистательная деятельность великих граждан, подобных Бомарше. В простоте своей доброй души принц Конти во всём этом деле не видел ничего, кроме чувствительного поражения, нанесённого парламенту Мопу. Принц решительно не понимал того, что общество, узнавшее свою собственную силу и сломившее этой силою одно из важнейших государственных учреждений, войдёт во вкус и будет подавлять своим могуществом всё то, что не соответствует его потребностям. Райское простодушие высшей французской знати, — простодушие, до которого наш испорченный век уже не может возвыситься, выразилось ещё рельефнее по поводу того же великого гражданина в деле о его знаменитой комедии «Свадьба Фигаро». Комедия эта была окончена в 1781 году. Слухи и толки о ней ходили по всему Парижу. Бомарше читал её во многих аристократических отелях. Слушатели были в восторге. Но Людовик XVI решительно не позволял этой комедии появиться на сцене. Бомарше три года интриговал против этого запрещения и, наконец, победил сопротивление короля, и, разумеется, победил только потому, что короля осадили со всех сторон просьбами и воллями короля, принцы и принцессы, которым чрезвычайно желательно было посмотреть, каким образом Фигаро при всей парижской публике высших и низших сортов будет отделять своими убийственными насмешками привилегию дворянства и все закоренелые несообразности старого феодального порядка. Геттнер замечает очень основательно, что «теперь никакая театральная цензура не потерпела бы подобной пьесы». Комедия была дана в первый раз 27-го апреля 1784 года. И затем театральная дирекция в продолжение десяти недель каждый день просвещала добрых парижан «Свадьбою Фигаро». Примеру Парижа последовали театры всех больших и маленьких провинциальных городов. Словом, по милости принцев и принцесс критика старых учреждений сделалась доступной всем французам, имевшим возможность заплатить какой-нибудь четвертак за место в театральном районе. Все эти французы увидели ясно, до какой степени все они единодушны в своей ненависти к старому злу. Все они почувствовали и поняли, что учреждения, осуждённые и осмеянные целой нацией, не могут существовать. А между тем принцы и принцессы продолжали простодушичать.

19 августа 1785 г. они сами разыграли «Свадьбу Фигаро» в малом Трианоне. Королева Мария-Антуанета исполнила роль Розины; а граф д'Артуа, будущий король Карл X¹²⁰, изобразил Фигаро и очень мило осмеял всё то, на чём основывалось его собственное величие и благосостояние. Эти люди утешались такими забавами за *четыре года* до того переворота, который одних повёл на эшафот, а другим подготовил разорение и двадцатилетнее изгнание.

VII

В течение всей второй половины XVIII века внимание французского общества сосредоточивается почти исключительно на литературе, и притом преимущественно на серьёзных её отраслях. Героями дня и властителями дум являются писатели. У французов в это время нет ни великих полководцев, ни смелых преобразователей, ни даже благоразумных правителей. Франция Людовика XV гордится только своими книгами. Книг у неё действительно очень много: они быстро и безостановочно появляются одна за другой; они покупаются и читаются нарасхват; они обсуживаются с самых различных сторон самые важные и интересные вопросы; они говорят о религии и о нравственности, о природе и о человеке, о государстве и обществе, о правах и обязанностях, о душе и об умственных способностях, об английской конституции и о республиканских добродетелях, о земледелии и промышленности, о собственности и о распределении богатств. По всем этим вопросам книги поражают своих читателей смелостью и неслыханностью суждений, которые при всём своём разнообразии оказываются все до одной совершенно непримиримыми с общеобязательным кодексом традиционных доктрина и с укоренившимися формами государственной и общественной жизни. Удар следует за ударом. Под этими ударами падают одно за другим в самых различных областях знания коренные заблуждения, на которых выросли и сложились любимые привычки, условные идеалы, игрушечные радости и копеечные огорчения читающего общества. Каждый удар вызывает бурю разнородных страстей то в обществе, то в правительственные сферах; и без какого-нибудь удара не проходит почти ни одного года, так что умы читателей находятся в постоянном напряжении и в безвыходной тревоге. Чтобы составить себе некоторое понятие о том обилии сильных умственных впечатлений, которое переживала тогдашняя публика, и о той быстроте, с которой самые разно-

образные впечатления сменяли и теснили друг друга, надо посмотреть, в каком хронологическом порядке появлялись на свет самые замечательные произведения отрицательной философии. Я буду называть только те сочинения, которые вошли в историю литературы, и вошли не столько за своё абсолютное достоинство, сколько за своё историческое значение. Стало быть, мы здесь будем иметь дело только с такими книгами, которые в своё время произвели на читателей сильное и глубокое впечатление.

В 1748 году Монтескье издаёт *«L'esprit des lois»* («Дух законов»), в котором превозносит до небес английскую конституцию, совершенно непохожую на учреждения старой французской монархии и составляющую для Франции самую недостижимую из всех возможных утопий. Книга в полтора года выдерживает *двадцать два* издания.

В том же году Дидро издаёт свои *«Pensées philosophiques»* («Философские размышления»). Парламент сжигает эту книгу. Её тотчас же издают вновь и распространяют тайно.

Вдохновившись *размышлениями* Дидро, Ла-Меттри¹²¹ около этого же времени издаёт в Голландии две книги, проникнутые таким яростным материализмом, которого не может выдержать даже голландское общество и изгоняет Ла-Меттри из своей среды. Непозволительные его книги называются: *«Histoire naturelle de l'âme»* («Естественная история души») и *«L'homme machine»* («Человек машина»).

В 1749 году Дидро издаёт *«Письмо о слепых»* («*Lettre sur les aveugles*») и попадает за него на три месяца в Венсенскую крепость.

В 1749 году Руссо издаёт *«Discours sur les sciences et les arts»*, в котором он доказывает, что цивилизация развратила человека. Руссо получает премию от Джонской академии и сразу становится европейской знаменитостью.

В 1751 году выходит первый том *«Энциклопедии»*.

В 1752 году — второй том *«Энциклопедии»*. Поднимается жестокая буря. Сорbonna осуждает книгу. Парижский архиепископ издаёт против неё (т. е. против книги) пастырское послание. На оба тома накладывают запрещение. Вследствие всего этого *«Энциклопедию»* покупают и читают, по словам современника и очевидца Барбье, все парижские лавочки и тряпичники.

В 1753 году Дидро издаёт *«Interprétation de la nature»* («Истолкование природы»), а Руссо издаёт *«Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes»* («Рассуждение о причинах и основаниях неравенства между людьми»).

В том же 1753 году выходит третий том «Энциклопедии». Посторившись с духовенством, правительство стало относиться к этому изданию довольно благосклонно.

В 1754 году Кондильяк¹²² издаёт «Traité des sensations» («Трактат об ощущениях»). Все отправления психической деятельности выводятся из чувственных ощущений. Психология сводится на физиологию нервной системы.

В 1755 году Морелли¹²³ издаёт «Code de la nature» («Кодекс природы») — проект нового общественного устройства. Все люди уравниваются в правах. Детям даётся общественное воспитание. Земля и рабочие инструменты составляют общую собственность. Денег нет и быть не должно. Труд обязателен для всех. Труд соразмеряется с силами, а вознаграждение продуктами — с потребностями каждого человека, по известной формуле: à chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. Любопытно заметить, что министр Войе-д'Аржансон¹²⁴, которому в 1755 году было больше шестидесяти лет, прочитавши «Code de la nature», назвал его книгою книг и поставил автора этой книги гораздо выше Монтескьё. Это тот самый д'Аржансон, который принёс в заседание Королевского совета мужицкий хлеб, испечённый из мякины и коры, и сказал Людовику XV: «Вот, государь, какой хлеб едят ваши подданные!» Король отвечал с большой находчивостью: «Будь я на их месте, я бы давно взбунтовался». Если книга Морелли подействовала на шестидесятилетнего министра, то не трудно себе представить, как сильно должна была она поразить более молодых и впечатлительных читателей.

В 1757 году Вольтер издаёт «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations», — книгу, за которую Бокль не совсем основательно называет Вольтера величайшим из всех европейских историков. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что эта книга составляет первый опыт бытовой истории и кладёт основание всей новейшей историографии. При этом Вольтер, конечно, не упускает из виду своей любимой идеи, так что всю его книгу можно назвать огромным и убийственно остронеским памфлетом против суеверия, фанатизма, клерикализма и туманных отвлечённостей.

С 1754 по 1756 год выходят четвёртый, пятый и шестой томы «Энциклопедии». Главные редакторы её, Дидро и д'Аламбер, стараются, не изменяя основной идеи, вести дело немного осторожнее.

В 1757 году выходит седьмой том «Энциклопедии», в котором редакторы, ободрённые заташьем, действуют смелее. Д'Аламбер пишет к Вольтеру, что седьмой том будет

сильнее всех предыдущих. Вольтер кланяется и благодарит, но клерикалы бьют тревогу во всех своих журналах, и правительство принимает их сторону.

В 1758 году Гельвеций издаёт книгу «*De l'esprit*» («О разуме»). Из ощущений физической боли и физического удовольствия выводятся все человеческие страсти, чувства и поступки. Эгоизм признаётся единственным двигателем всякой человеческой деятельности, как самой преступной, так и самой возвыщенно-честной и героической. Добром называется то, что согласно с общим интересом, а злом — то, что вредит этому интересу и подрывает существование общества. Человек делает добро и зло вследствие одинаковых побуждений, т. е. вследствие того удовольствия, которое доставляет или обещает ему данный поступок. Против этой книги поднимается жестокая буря; иезуиты и янсенисты преследуют её общими силами; парижский архиепископ совершенно справедливо видит в ней отрицание свободной воли и нравственного закона. Сорбонна повторяет и усиливает эти обвинения; государственный прокурор усматривает в книге Гельвеция собрание самых опасных учений, пущенных в ход «Энциклопедией». Книгой недовольны даже и сами философы; Вольтер, Дидро, Бюффон и Гримм¹²⁵ осуждают её как собрание парадоксов или отзываются о ней насмешливо.

В 1759 году книгу Гельвеция публично сжигают по определению парламента; цензора Терсье, дозволившего её печатание, отставляют от службы. Между тем книга раскупается; в самое короткое время она выдерживает пятьдесят изданий; её переводят почти на все живые языки Европы. Гельвеций становится европейской знаменитостью.

В том же 1759 году, через месяц после сожжения книги Гельвеция, следственная комиссия, наряженная по делу об «Энциклопедии», приводит свои работы к благополучному окончанию. Привилегия, выданная от правительства в 1746 году на издание «Энциклопедии», уничтожается; продажа вышедших и следующих томов запрещается «во внимание того, что польза, приносимая искусству и науке, совершенно не соответствует вреду, приносимому религии и нравственности».

В том же 1759 году Кенэ¹²⁶ издал книгу «*Essai sur l'administration des terres*», которая вместе с книгою «*Tableau économique*», изданной в 1758 году, составляет основание теории физиократов, т. е. экономистов, ставшихся обратить внимание правительства на земледелие, как на единственный источник народного богатства. Этих экономистов можно назвать продолжателями Вобана и Буагильбера. Подобно этим двум писателям, они нисколько не восстают против

деспотизма, не требуют никаких конституционных гарантий и желают только, чтобы правительство сделалось хорошим хозяином, понимающим свои собственные интересы. Направление всей школы характеризуется следующими словами, составляющими эпиграф к главному сочинению Кенэ «Tableau économique»: «Pauvres paysans, pauvre goyaute; pauvre goyaute, pauvre roi». («Когда бедны мужики, тогда бедно государство; когда бедно государство, тогда беден король»). Средства, предлагавшиеся физиократами для устранения бедности, призначены теперь односторонними и неудовлетворительными; важное значение этих писателей обусловливается не положительными их проектами, а отрицательной стороной их деятельности; все они твердят обществу постоянно, что Франция бедна и быстрыми шагами идёт к окончательному разорению. Эти слова, подкреплённые множеством прилежно собранных фактов, действуют на общество и действуют так сильно, что уже в 1759 году Вольтер в своих письмах жалуется на охлаждение общества к изящной словесности. «Грация и вкус, — говорит он, — кажется, изгнаны из Франции и уступили место запутанной метафизике, политике мечтателей, громадным рассуждениям о финансах, о торговле, о народонаселении, которые не прибавят государству ни одного экю, ни одного лишнего человека». Надо полагать, что *грация и вкус* прибавляют государству и то и другое!

В 1761 году Руссо издаёт свой роман «La nouvelle Héloïse». *Грация и вкус* торжествуют, несмотря на успехи экономистов. Роман расprodается с беспримерной и невероятной быстротой. Основные мотивы «Новой Элоизы» — любовь, добродетель и сельская природа. Знатные дамы проводят над этим романом целые ночи напролёт, забывая о бале, который ожидает их, и о запряжённой карете, которая стоит у подъезда. В библиотеке для чтения является такое множество читателей, требующих себе «Новую Элоизу», что плата назначается за чтение этой книги не по дням, а по часам: за час платится по 12 су.

В 1762 году Руссо издаёт книгу «Emile ou de l'éducation» («Эмиль или о воспитании»). В этой книге находится знаменитое *profession de foi du vicaire sovoyard* (исповедание веры савойского викария), в котором Руссо опровергает клерикалов, с одной стороны, и материалистов, с другой стороны. Блистательный успех и вместе с тем буря в клерикальных и правительственные сферах. В парламенте начинают говорить, что вместе с книгами следует сжигать и авторов. Книгу сжигают, автора посыпают арестовать, но он бежит за границу. Женева, в которой Руссо ищет себе при-

станица, гонит его вон. Берн поступает точно так же. Наконец, Руссо находит себе приют в княжестве Невшательском, которое в то время принадлежало Пруссии. Между тем от всех этих преследований цена «Эмиля» быстро растёт. Книга, стоявшая сначала восемнадцать ливров, продаётся за два луидора. Её перепечатывают в Голландии и распространяют в бесчисленном множестве экземпляров. Один офицер, увлечённый идеями «Эмиля», стремится бросить службу и учиться столярному ремеслу. Сам Руссо отклоняет его от этого намерения. Начитавшись «Эмиля», знатные барыни начинают сами кормить своих детей. Это кормление входит в моду и производится в гостиных собственно для того, чтобы посторонние мужчины видели, во-первых, сокровища материнской нежности, а во-вторых, — красоту обнажённой груди. В том же 1762 году Руссо издаёт книгу: «*Du contrat social ou principes du droit politique*» («Об общественном договоре или принципы государственного права»). Этой книгой Руссо кладёт основание республиканской школе, так точно, как Монтескье своим «Духом законов» положил основание конституционной школе. «*Contrat social*» сделался впоследствии настольной книгой Робеспьера и был положен в основание той конституции, которую выработал конвент в 1793 году. «Эмиль» и «Об общественный договор» доставили своему автору громадную популярность. «Трудно выразить,— писал Юм¹²⁷ из Парижа в 1765 году, — даже вообразить народный энтузиазм к нему. Никто никогда не обращал на себя в такой степени народное внимание. Вольтер и все другие совершенно затмлены им». В том же 1762 году Вольтер написал своё сочинение о терпимости в защиту казнённого Каласа. О впечатлении, произведённом этой книгой на весь образованный мир, уже было говорено выше.

В 1764 году правительство запрещает издание каких бы то ни было сочинений по вопросам, касающимся государственного управления.

В 1766 году выходят последние десять томов «Энциклопедии». Клерикалы плачут и шумят. Правительство сажает книгопродавцев на неделю в Бастилию. Продажа книги продолжается. Министр Шуазель¹²⁸ и директор книжной торговли Малерб тянут руку энциклопедистов и успевают разными придворными хитростями склонить короля к снисходительности. Правительство решается смотреть сквозь пальцы на продажу «Энциклопедии», которая расходится великолепно. Уже в 1769 году было распродано тридцать тысяч экземпляров, и чистый барыш книгопродавцев-издателей дошёл до 2 660 393 ливров, несмотря на то что печатание стоило 1 158 958 ливров.

В том же 1766 году Гурнэ¹²⁹ издал книгу «*Essai sur l'esprit de la législation favorable à l'agriculture*» («Опыт о духе законодательства, благоприятного для земледелия»). Гурнэ принадлежит к одному лагерю с Кенэ. Это опять рассуждения о финансах, о бедности и о народном хозяйстве, — рассуждения, совершенно враждебные *грациям* и *вкусу*. Это — протесты против барщины, против обременительных налогов, против цеховых стеснений, против внутренних таможен, против мелочной и произвольной правительственный регламентации.

В 1767 году правительство угрожает смертной казнью каждому писателю, которого сочинения клонятся к волнованию умов. В то же время писателям запрещается под страхом смертной казни рассуждать о финансах.

В том же 1767 году Мерсье де-ла-Ривьер¹³⁰ издаёт книгу: «*L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques*» («Естественный и необходимый порядок гражданских обществ»). Автор обсуживает, с точки зрения физиократов, всевозможные вопросы государственного управления и народного хозяйства. Правительственные запрещения и угрозы остаются мёртвой буквой.

В 1768 году Кенэ издаёт книгу: «*Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain*» («Физиократия или естественное устройство правления, самого выгодного для человеческого рода»). Задача поставлена широко, и на запрещения правительства обращается мало внимания.

В том же 1768 году Гольбах¹³¹ издаёт книгу «*Lettres à Eugénie ou préservatif contre les préjugés*» («Письма к Евгении или предохранительное средство против предрассудков»). Эта книга, подобно всем остальным сочинениям Гольбаха, выходит в свет без имени автора, потому что все произведения этого писателя проповедуют такой необузданный материализм, который приводит в ужас даже многих философов вольтеровской школы.

В 1770 году Галиани¹³² издаёт «*Dialogues sur le commerce des blés*» («Диалоги о хлебной торговле»). Здесь начинается полемика с физиократами, которые сосредоточивали всё своё внимание на земледелии. Галиани выдвигает вперёд вопрос о промышленном труде и о фабричном работнике. В книге Галиани заключается уже, по мнению Геттнера, зародыш новейшей социальной науки.

В 1770 году Гольбах издаёт книгу «*Système de la nature*» («Система природы»). Бокль считает появление этого сочинения важной эпохой в истории Франции. Об этой книге принято

говорить не иначе, как с добродетельным ужасом и негодованием. Даже Гёте, который никогда не был ни клериком, ни даже действом, говорит, что он едва мог выносить присутствие этой книги и содрогался перед нею, как перед привидением. Вольтер, Фридрих Великий и д'Аламбер были глубоко возмущены «Системою природы». Вольтер старался уничтожить её серьёзными аргументами и лёгкими сарказмами. Однако же книга устояла, и сам Вольтер был принуждён признаться печатно, что она распространена во всех классах общества и что её читают учёные, невежды и женщины. Из всех первоклассных деятелей французской литературы только один Дидро совершенно одобрил книгу Гольбаха.

В 1773 году Бомарше печатает свои защитительные мемуары¹³³. Их сжигает палач, и, разумеется, они вследствие этого раскупаются с удвоенной быстротой.

В 1774 году Тюрго¹³⁴, самый замечательный из физиократов, издаёт свои «Recherches sur la nature et l'origine des richesses» («Исследование о природе и происхождении богатств»).

В том же 1755 году Бомарше ставит на сцену «Севильского цирюльника», в котором плебей Фигаро дурачит и осмеивает знатных господ.

В 1776 году Мабли¹³⁵ издаёт книгу «De la législation ou principes des lois» («О законодательстве, или принципы законов»). Все люди, по мнению Мабли, имеют одинаковое право развивать свои способности и наслаждаться своим существованием. Кто удерживает для самого себя излишек, необходимый для жизни его ближнего, тот, по мнению Мабли, вносит в общество понятие войны, извращает божественный порядок мира и оказывается безбожником.

В 1778 году старик Вольтер приезжает в Париж. Его встречают так, как не встречали никогда владетельных особ. Демонстрации парижан до такой степени замечательны и так ярко характеризуют тогдашнее настроение умов, что я считаю необходимым привести здесь слова очевидца Гримма, внесённые Геттнером в его «Историю литературы XVIII века».

«Сегодня, 31 марта, знаменитый старик в первый раз был в академии и в театре. Огромная толпа людей следовала за его экипажем даже во дворы Лувра, желая его видеть. Все двери, все входы академии были заняты; поток раскрылся только, чтобы дать ему место, и потом быстро сомкнулся снова и с громкой радостью приветствовал его. Вся академия вышла ему навстречу в первую залу, — честь, которой не получал ещё никто из её членов, даже никто из иностранных госу-

дарей. Ему назначили место директора и выбрали его единогласно директором... Когда он ехал от Лувра к театру, это было совершенно похоже на триумф. Всё было переполнено людьми обоего пола, всякого возраста и звания. Едва только показывалась издали карета, раздавался всеобщий радостный клич; с приближением его восклицания, аплодисменты и восторг удвоивались. Наконец, когда толпа видела уже почтенного старика, отягощённого столькими годами, столькой славой, видела, как он, поддерживаемый с обеих сторон, выходил из экипажа, умиление и удивление достигали высшей степени. Все улицы, все балюстрады домов, лестницы, окна были усыпаны зрителями, и едва останавливалась карета, как всё лезло на колёса и на экипаж, чтобы посмотреть вблизи на знаменитого человека. В самом театре, где Вольтер вошёл в камергерскую ложу, суматоха радости, казалось, стала ещё больше. Он сидел между г-жей Дени и г-жей де-Вильет. Знаменитейший из актёров, Бризар, подал дамам лавровый венок с просьбой увенчать старика. Но Вольтер тотчас положил венок в сторону, хотя публика громкими криками и рукоплесканиями заставляла его оставить на голове. Все дамы стояли. Вся зала наполнилась пылью от передвижения человеческой массы. Только с трудом можно было начать пьесу. Когда занавес упал, шум поднялся снова. Старик встал со своего места, чтобы поблагодарить, и тогда посреди сцены явился на высоком пьедестале бюст великого человека; его окружили все актёры и актрисы с венками и гирляндами из цветов; на заднем плане стали воины, выходившие в пьесе. Имя Вольтера раздавалось из всех уст; это было восклицание радости, благодарности и удивления; зависть, ненависть, фанатизм и нетерпимость должны были скрыть свою злобу, и общественное мнение в первый раз, быть может, высказалось свободно и в полном блеске. Бризар положил на бюст первый венок, за ним следовали другие, наконец, г-жа Вестрис обратила к виновнику торжества несколько стихов, написанных маркизом Сен-Марком, которые торжественно высказывали, что лавровый венок даёт ему сама Франция. Минута, когда Вольтер оставил театр, была, если можно, ещё трогательнее, чем его вступление. Казалось, он изнемогал под тяжестью лет и лавров. Кучера просили ехать потише, чтобы можно было идти за ним: большая часть народа провожала его с криками: «Да здравствует Вольтер!»

После этого торжества, разумеется, не осталось вовсём Париже ни одного блузника, которому было бы неизвестно имя Вольтера и который не имел бы по крайней мере самого

общего и неопределённого понятия о его заслугах. Каждый блузник знал, по меньшей мере, то, что Вольтер — писатель и что писатель своими трудами может сделаться идолом и гордостью целого народа. Это уже очень важно и многозначительно, когда одно имя повторяется с благоговением во всех слоях общества.

Через два месяца после своего триумфального шествия Вольтер умирает. Во избежание всяких выразительных демонстраций правительство на несколько времени запрещает актёрам играть драмы Вольтера и не позволяет журналистам упоминать о его смерти.

Между тем события идут своим чередом, и положение с каждым годом становится более напряжённым. Я закончу мой хронологический перечень следующими тремя фактами.

В 1781 году министр Неккер¹⁵⁸ печатает свой «*Compte général*» («Отчёт») о состоянии французских финансов. Отчёт этот клонился к тому, чтобы сломить сопротивление привилегированных классов и самого короля давлением общественного мнения. Поэтому этот отчёт имеет чисто обличительное направление и производит на общество потрясающее впечатление. Более 6 000 экземпляров раскупается в первый же день; а потом постоянная работа в двух типографиях не успевает удовлетворять всех требований из столицы, из провинций и из-за границы. Отчёт Неккера лежит в кармане у каждого аббата и на туалете у каждой дамы. Другое сочинение Неккера, «*Administration des finances*», расходится в 80 000 экземпляров.

27 апреля 1784 года была дана в первый раз комедия Бомарше «Свадьба Фигаро». «С раннего утра, — говорит Геттнер, — *Théâtre Français* был осаждаем массами. Знатные дамы обедали в актёрских ложах, чтобы обеспечить себе хорошие места; в толпе, как рассказывают достоверные известия, три человека были задавлены. Впечатление было неслыханное в истории сцены. Шестьдесят восемь представлений даны были без перерыва одно за другим». Гримм определяет следующим образом значение комедий Бомарше: «Много и верно говорено было о великом влиянии Вольтера, Руссо и энциклопедистов, самый народ мало, однако, читал этих писателей. Но представление «Свадьбы Фигаро» и «Цирюльника» безвозвратно предало правительство, суд, дворянство и финансовый мир на осуждение всего населения, всех больших и маленьких городов».

В 1787 году архиепископ тулусский Ломени де-Бриен, бывший в то время первым министром, представил парижскому парламенту королевский эдикт, предоставлявший

протестантам все те гражданские права, которыми до того времени пользовались только одни католики. Парламент, несмотря на своё тогдашнее оппозиционное настроение, беспрекословно внёс эдикт в протокол и придал ему, таким образом, силу закона. Итак, король, парламент и церковь в лице архиепископа тулузского признали необходимость полной веротерпимости. Таким неслыханным чудом Франция была обязана исключительно своей литературе, которая тихо и незаметно переработала все понятия не только в обществе, но даже и в высших правительственные сферах. Людовик XVI был также сыном своего века, и роль Людовика XIV была ему не только не по силам, но и не по убеждениям. Старый порядок опротивел даже и самому королю.

VIII

Сухая и сжатая хроника, наполняющая предыдущую главу, необходима читателю для того, чтобы он мог бросить общий взгляд на всю совокупность разнообразных умственных впечатлений, пережитых читающей Францией, а вслед за нею и всей мыслящей Европой во второй половине прошлого столетия. Рассматривая внимательно эту хронику, читатель увидит три различные течения идей, — три течения, действовавшие на умы с одинаковой силой и в одно время.

Во-первых, работы экономистов Кенэ, Гурнэ, Мерсье-де-ла-Ривьера и многих других. Эти люди критикуют терпеливо, внимательно и добросовестно те части и отрасли феодального порядка, которые соприкасаются с народным хозяйством и действуют на производительные силы Франции. Этим людям часто недостаёт ширины взглядов, но зато они всегда превосходно знают те факты, о которых они говорят. Их можно упрекнуть в односторонности, но никогда нельзя заподозрить в поверхностном дилетантизме.

Во-вторых, труды энциклопедистов, продолжающих дело Вольтера и уничтожающих последние основания клерикализма и пietизма.

В-третьих, деятельность писателей, рисующих яркие картины того всеобщего благополучия, к которому должно стремиться человечество и которое не может быть достигнуто при существовании старых учреждений. Самым сильным представителем этого последнего направления является Жан-Жак Руссо.

Об экономистах я распространяться не буду, во-первых, потому, что для этого пришлось бы вдаваться в очень

подробные исследования о хозяйственных нелепостях старой французской монархии, а во-вторых, потому, что уже в 1776 году идеи французских физиократов были совершенно опрокинуты знаменитой книгой Адама Смита о народном богатстве. Так как главное сочинение Кенэ «Tableau économic» вышло в 1758 г., то, стало быть, могущество физиократов продолжалось всего восемнадцать лет. Главная же их ошибка состояла в том, что они видели в земле единственный источник народного богатства и труд земледельца считали единственным производительным трудом, имеющим право на исключительное поощрение со стороны государства. Слово *физиократия* значит *господство природы*. Французские экономисты прошлого столетия придали своему учению это название потому, что они старались доставить решительное преобладание тем интересам, которые опираются на землю, на почву, на производительные силы самой природы.

Гораздо обширнее было влияние представителей общественных теорий и энциклопедистов. Их идеи глубоко волновали всю Европу и, облекаясь постоянно в новые формы, продолжают действовать и развиваться до нашего времени. Поэтому я считаю необходимым остановиться здесь сначала на деятельности Руссо, а потом — на миросозерцании энциклопедистов.

В настоящее время все или почти все мыслящие люди убеждены в том, что человечество постоянно идёт вперёд, совершенствуется и развивается. Кто признаёт теорию прогресса, тот знает также, что этот прогресс совершается не по произволу отдельных личностей, а по общим и неизменным законам природы. Но в понимании обеих великих идей — прогресса и законности — надо тщательно избегать двух нелепых крайностей, ведущих за собою самый бессмыслиценный оптимизм. Человечество подвигается вперёд — это верно; но никак не следует думать, что каждый шаг человечества есть непременно шаг вперёд, и каждое движение — движение к лучшему. Напротив того, человечество подвигается вперёд не по прямой линии, а зигзагами; каждый успех покупается ценою многих ошибочных попыток. Правда, что ошибки эти не пропадают совершенно даром; они увеличивают запас опыта; они до некоторой степени предохраняют от ошибок в будущем; но ошибки всё-таки остаются ошибками; и в ту минуту, когда нация гонится за призраком или отворачивается от своей существенной выгоды, — никак невозможно утверждать, что нация поступает очень благоразумно и что её дела улучшаются.

То же самое надо сказать и об идее законности. Никак не следует утверждать, что отдельные личности своими поступками, своими личными качествами, складом ума и особенностями характера не могут подействовать ни в дурную, ни в хорошую сторону на общее течение событий. Напротив того, отдельные личности постоянно действуют то в дурную, то в хорошую сторону, но их влияния взаимно уравновешиваются и становятся незаметными, если мы берём для рассмотрения достаточно большие периоды времени, например, целые тысячелетия. Если бы мы могли, например, взглянуть на положение Европы в 2866 году, то мы, разумеется, никак не могли бы определить, в каком направлении подействовали на европейскую цивилизацию личный характер и военные таланты Наполеона I. Оказалось бы, что все следы его влияния совершенно изглажены, и Европа прошла в тысячелетие как раз тот путь, который она должна была пройти по вечным и незыблым законам природы. Но если вы теперь, в 1866 году, вздумаете утверждать, что ум и характер Наполеона I не имели никакого влияния на ход событий, то вам скажут, что, будь, например, у Наполеона I поменьше военных талантов и тщеславия, да побольше благородства, тогда бы вся Европа с 1807 г. наслаждалась глубоким миром, и тогда не было бы той бешеной католической реакции, которая могла развернуться в полном блеске только под покровительством торжествующего легитимизма. У Наполеона была своя историческая задача, не особенно завидная и блестящая, но всё-таки такая, которую можно было выполнить хорошо и выполнить дурно. После того как революция была остановлена на всём ходу, военная диктатура сделалась сначала возможной, а потом неизбежной; но можно было воспользоваться ею благородственно и воспользоваться нелепо; то или другое употребление доктрины зависело уже вовсе не от великих и общих причин, а просто от личных особенностей диктатора. Наполеон выполнил свою задачу отвратительно дурно, и те люди, которым приходится жить в ближайшие десятилетия, чувствуют на себе дурные последствия его ошибок. То же самое можно сказать и о всякой другой исторической задаче, достающейся на долю отдельной личности; каждая задача может быть решена и очень хорошо, и очень дурно, и с грехом пополам. В половине XVIII века стояла на очереди важная задача. Надо было повернуть против феодального государства то отрицание, которое в первой половине столетия действовало исключительно против клерикальной партии. Надо было громко объявить людям, что пора перейти от смелых мыслей к смелым делам.

Эту задачу решил Руссо. Слово его было достаточно громко и увлекательно. Люди встрепенулись, и перед ними открылась перспектива новой жизни. А между тем нельзя не пожалеть о том, что решение этой капитальной задачи досталось именно Жан-Жаку Руссо. Нельзя не сказать, что Европа осталась бы в больших барышах, если бы Руссо умер в цвете лет, не напечатавши ни одной строки. Руссо решил задачу, но на своё решение он положил грязные следы своей бабьей, плаксивой, взбалмошной, расплывающейся, мелочной и в то же время фальшивой, двоедушной и фарисейской личности. У Руссо был тот талант, был тот ум, были те страсти, которые были необходимы для решения задачи. Но, кроме того, у Руссо было многое множество болезней, слабостей, пошлостей и гнусностей, без которых основатель французской социальной науки мог бы обойтись с величайшим удобством для самого себя и с огромной пользой для своего дела. Так, например, Руссо не было ни малейшей необходимости страдать расстройством мочевого пузыря и хронической бессоницей. Дело всеобщей перестройки очевидно выиграло бы, если бы её первым мастером был человек совершенно здоровый, крепкий, весёлый, деятельный и неутомимый.

Читатели мои ужасаются или смеются. Можно ли в самом деле толковать о мочевом пузыре, когда рассматривается решение великой исторической задачи? Что общего имеет мочевой пузырь Руссо с идеями «Эмиля» и «Общественного договора»? К сожалению, эти вещи имеют между собой гораздо больше точек соприкосновения, чем вы предполагаете, господа идеалисты. Я докажу вам это словами самого Руссо. В 1752 году была дана с большим успехом на придворном театре комическая опера Руссо: «Деревенский гадатель». Король, которому очень понравилась музыка, выразил желание, чтобы Руссо был ему представлен. Теперь выступает на сцену мочевой пузырь. «Вслед за мыслью о представлении, — говорит Руссо в своих «Признаниях» (которые Устрялов¹³⁷ напрасно назвал в русском переводе «Исповедью»), — я задумался над необходимостью часто выходить из комнаты вследствие моей болезни, что заставило меня много страдать в вечер, проведённый в театре, и что могло мучить меня и на следующий день, когда мне предстояло быть в галлереи или в комнатах короля среди всех вельмож, ожидающих появления его величества. Эта болезнь была главной причиной, по которой я держал себя в стороже от собраний и которая не позволяла мне ходить в гости к женщинам. Одна мысль о том положении, в которое могла поставить меня эта потребность, была способна усилить её до такой

степени, что мне сделалось бы дурно, или дело не обошлось бы без скандала, которому я предпочёл бы смерть. Только люди, знакомые с таким состоянием, могут понять, как страшно подвергать себя такой опасности». Сам Руссо, как видите, признаётся, что болезнь была главной причиной, удалявшей его от людей. Надо заметить, что эта болезнь была у него прокрёпшой. Значит, он с самого детства чувствовал в обществе постоянные беспокойство. Эта совершенно определённая боязнь должна была, наконец, породить в нём общую нервацию и застенчивость; эти особенности вызывали шутки и насмешки товарищей; от этих шуток и насмешек робость должна была увеличиваться, и к ней должна была присоединяться злобная недоверчивость к людям и, как подтверждение этой недоверчивости, тоскливо-сентиментальное стремление к каким-то лучшим людям, сладким, чувствительным, нежным и слезливым. Все «Признания» Руссо составляют одну длиннейшую и скучнейшую жалобу на то, что люди не умеют его понимать, не умеют любить, стараются всячески и любить, составляют против него заговоры и причиняют его прекрасной душе такие страдания, которые им, простым и грубым людям, даже совершенно недоступны. И Руссо напрягает все свои силы, чтобы наплевать на людей и удалиться в пустыню, на лоно природы, которая никому не мешает часто выходить из комнаты. Но Руссо так мелочен, что он никак не может действительно наплевать на людей; его тревожит каждая светская сплетня, как бы она ни была невинна или глупа; в каждом слове и в каждом взгляде он отыскивает себе оскорблёнение; на каждом шагу он, отшельник и мудрец, вламывается в амбицию, лезет объясняться, выказывает своё достоинство, визжит, плачет, кидается в объятия и вообще надоедает всем своим знакомым до такой степени, что все действительно начинают тяготиться его присутствием. Руссо ненавидит то общество, в котором он живёт, но в этой ненависти нет ничего высокого и прекрасного. Он ненавидит в нём не те крупные препятствия, которые парализуют полезную деятельность; он ненавидит только какие-то мелкие несовершенства отдельных личностей, бесчувственность злодея Дидро, суровость негодяя Гольбаха, высокомерие изверга Гримма¹³⁸, неискренность мерзавки д'Эпинэ. В «Признаниях» радикала Руссо вы не найдёте ни одной сильной и глубоко прочувствованной политической ноты, но зато найдёте груды замысловатых соображений о коварных происках Дидро и Гольбаха против репутации кроткого и добродетельного Жан-Жака.

Политическая дряблость радикала Руссо была так велика,

что он по какому-то ничтожному личному поводу напал печатно на Дидро и объявил публике о своём разрыве с ним в то самое время, когда Дидро как редактор «Энциклопедии» нёс на себе всю тяжесть правительственные и клерикальных преследований. Сен-Ламбер, которому Руссо, по старой дружбе, послал свою ядовитую брошюру, отвечал ему убийственным письмом, которого не дай бог никому получить от старого друга. «Поистине, милостивый государь, — пишет Сен-Ламбер, — я не могу принять вашего подарка. При чтении того места вашего предисловия, где вы, по поводу Дидро, приводите выписку из экклезиаста¹³⁹, книга выпала у меня из рук... Вам не безызвестны преследования, которые он терпит, а вы примешиваете голос старого друга к крикам зависти. Не могу скрыть от вас, милостивый государь, как возмущает меня подобная жестокость... Милостивый государь, мы слишком расходимся в наших принципах, чтобы иметь возможность сойтись когда-нибудь. Забудьте моё существование; это не должно быть для вас трудно... Я же, милостивый государь, обещаю вам забыть вашу особу и помнить только ваши таланты». И Руссо самодовольно выписывает это письмо в своих «Признаниях», считая себя и в этом случае жертвой человеческой испорченности.

Болезнь Руссо развивала в нём любовь к уединению, а уединение развивало мечтательность. Руссо сам рассказывает, каким образом он в лесах Монморанси окружал себя идеальными существами и проливал сладостные слёзы над великими добродетелями Юлии и Сен-Пре, героев «Новой Элоизы». Болезнь внушала Руссо отвращение к деятельности и тревожной жизни: в то время, когда всё кругом Руссо кипело ожесточённой борьбой, сам Руссо мечтал только о том, как бы найти себе где-нибудь спокойный уголок и устроить вокруг себя любезную идиллию. Так как борьба, требующая постоянных и разнообразных столкновений с людьми, была решительно не по силам больному мечтателю, то он и не мог никогда пристраститься к такой цели, которая может быть достигнута только путём упорной и продолжительной борьбы. У Руссо, у этого кумира якобинцев, не было в жизни никакой определённой цели. Он вовсе не желал ввести в сознание общества те или другие идеи. Если бы у него было это желание, то он, подобно Вольтеру, писал бы до последнего издыхания и устраивал бы всю свою жизнь так, как того требовали удобства писания и печатания. Но этого не было. Он бросил литературную деятельность, как только получил возможность жить потихоньку на заработанные деньги. Выбирая себе место жительства, он обращает внимание только на красоту окру-

жюющеей природы, а совсем не на ту степень свободы, которой пользуется в данной стране печатное слово. Не угодно ли вам полюбоваться на идеал счастливой жизни, нарисованный рукой самого Руссо. «Лета романических планов прошли,— говорит он в «Признаниях», — дым пустого тщеславия скорее отуманивал меня, чем льстил мне, мне оставалась одна последняя надежда — жить без принуждения, в вечной праздности. Это жизнь блаженных на том свете, и я отныне полагал в ней моё высочайшее счастье в этом мире»... «Праздность, которую я люблю,— поясняет он далее,— не есть праздность ленивца, который, сложа руки, остаётся в совершенном бездействии, ни о чём не думая, ничего не делая. Это — праздность ребёнка, находящегося беспрестанно в движении и всё-таки ничего не делающего, и праздность болтуна, который мелет всякий вздор, между тем как руки его остаются в покое. Я люблю заниматься пустяками, начинать сто вещей и не кончать ни одной, ходить куда вздумается, каждую минуту переменять планы, следить за мухою во всех её приёмах, желать сдвинуть скалу, чтобы посмотреть, что под нею, с жаром предпринять работу, которой хватит на десять лет, и бросить её через десять минут, целый день предаваться безделью без порядка и без последовательности и во всём подчиняться только минутному капрису».

Вряд ли можно найти другого знаменитого человека, который с таким искренним самодовольствием любовался бы публично своей собственной дрянностью и тряпичностью. Вы видите из его слов, что когда он писал «Эмиля» и «Общественный договор», тогда он только *отуманивал себя дымом пустого тщеславия*. Теперь дым рассеялся, и Руссо понял, что *вечная праздность ребёнка* составляет его настояще призвание. Не умея быть героем и бойцом, Руссо не умеет также ценить и понимать бойцов и героев. Сила, энергия, смелость, настойчивость, эластичность, изворотливость, неутомимость, — все эти качества, драгоценные с точки зрения бойца, в глазах Руссо не имеют никакого значения. Он дорожит только красивыми чувствами, трогательными излияниями, чистотой целомудренного сердца, кротостью голубичного нрава, способностью созерцать, благоговеть, ныть и обливаться тёплыми слезами восторга. Он влюблён в какую-то добродетель и желает, чтобы все люди были по возможности добродетельны. Но при этом он самого себя считает за очень добродетельного человека и даже умиляется до слёз над красотами своей души. Это обстоятельство ясно показывает читателю, что возлюбленная добродетель Руссо заключается именно только в тонкости прекрасных чувств, потому что эта добродетель не

помешала ему отдать пять человек своих собственных детей в воспитательный дом и вообще не заставила его сделать ни одного сколько-нибудь замечательного поступка, ничего такого, что можно было бы хоть издали сравнить с великими подвигами человеколюбия, сделанными злым насмешником Вольтером, который никогда не толковал печатно о добродетели.

Итак, идеал Руссо был совершенно ложен; та мерка, которой он измерял достоинства людей, никуда не годится. Этот ложный идеал и эта негодная мерка, обязаны своим происхождением болезненному состоянию автора, бросают совершенно фальшивый колорит на самые замечательные произведения Руссо, на «Эмиля» и на «Общественный договор». В лице своего идеального воспитанника Эмиля Руссо формирует не гражданина, не мыслителя, не героя той великой борьбы, которая должна перестроить и обновить общество, а только здорового и невинного ребёнка, который сумеет до конца своей жизни уберечь от козней общества свою невинность и свою здоровье. Руссо боится до крайности, чтобы его Эмиль не провёл ночи в объятиях камелии; но он никак не боится того, что вся жизнь Эмиля может пройти бесследно в сонной идиллической беспечности, которая к тридцатилетнему возрасту превратит Эмиля в Афанасия Ивановича.

В своём «Общественном договоре» Руссо считает необходимым, чтобы законодатель и правительство делали граждан добродетельными. Это стремление кладёт в идеальное государство Руссо зерно злого клерикального деспотизма. Руссо думает, что людей надо искусственным образом привыкнуть к добродетели. Это — огромная ошибка. Каждый здоровый человек добр и честен до тех пор, пока все его естественные потребности удовлетворяются достаточным образом. Когда же органические потребности остаются неудовлетворёнными, тогда в человеке пробуждается животный инстинкт самосохранения, который всегда бывает и всегда должен быть сильнее всех привитых нравственных соображений. Против этого инстинкта не устоят никакие добродетельные внушения. Поэтому государству незачем и тратить силы и время на подобные внушения, которые в одних случаях не нужны, а в других — бессильны. Государство исполняет свою задачу совершенно удовлетворительно, когда оно заботится только о том, чтобы граждане были здоровы, сыты и свободны, то-есть, чтобы они на всём протяжении страны дышали чистым воздухом, чтобы они раньше времени не вступали в брак, чтобы все они имели полную возможность работать и

потреблять в достаточном количестве продукты своего труда и чтобы, наконец, все они могли приобретать положительные шансы, которые избавляли бы их от разорительных мистификаций всевозможных шарлатанов и кудесников. Если же государство не ограничивается этими заботами, если оно врывается в область убеждений и нравственных понятий, если оно старается навязать гражданам возвышенные чувства и похвальные стремления, то оно притупляет граждан, превращая их или в послушных ребят, или в бессовестных лицемеров. Официальные хлопоты о добродетелях открывают широкую дорогу религиозным преследованиям. Это мы видим уже в теоретическом трактате Руссо. Четвёртая книга «Общественного договора» говорит, что в государстве должна существовать религия, обязательная для всех граждан. Кто не признаёт государственной религии, того следует выгонять из государства, не как безбожника, а как нарушителя закона. Кто признал эту религию и однокоже действует против неё, тот подвергается смертной казни, как человек, солгавший перед законом. Этими двумя принципами можно оправдать и узаконить всё, что угодно: и драконнады, и инквизицию, и изгнание мавров из Испании, и вообще всевозможные формы религиозных преследований. И герцог Альба, и Торквемада, и Ле-Теллье¹⁴⁰ могут прикрыть все свои подвиги тем аргументом, что они наказывают не еретиков, а государственных преступников. Именно этим аргументом и оправдывались в Англии при Елизавете преследования, направленные против католиков. Руководствуясь принципами Руссо, Робеспьер погубил на эшафоте много таких людей, которые были очень полезны Франции, например, Дантоне, Демулене, Шомета, Анахарсиса Клоца¹⁴¹. Он обвинял их, правда, в различных заговорах и сношениях с Питтом¹⁴², но вряд ли даже он сам верил в существование этих заговоров. Настоящей причиной его ненависти к этим людям было то обстоятельство, что все они были скептиками и что вследствие этого Робеспьер как послушный ученик Руссо признавал их недостойными жить в добродетельной французской республике.

IX

Из энциклопедистов я возьму только Дидро и Гольбаха. Оба они — здоровые, весёлые, трудолюбивые люди, безгранично преданные своим идеям. Оба они гораздо моложе Вольтера: Дидро — на девятнадцать, а Гольбах — на двадцать девять лет. Дидро воспитывался в коллегии иезуитов и

хотел сначала поступить в духовное звание, но потом, когда способности его развернулись, он совершенно отказался от этого намерения, стал заниматься с особенным жаром математикой, древними и новыми языками и, наконец, решительно объявил своему отцу, что никогда не выберет себе определённой профессии. Отец его, богатый и солидный буржуа, рассердился и вздумал запугать его лишениями. Дидро остался в Париже без копейки денег и начал заниматься литературными работами по заказу книгопродавцев. Потом женился по любви на бедной девушке и окончательно рассорился с отцом. Наконец, в 1746 году Дидро сошёлся с книгопродавцем Ле-Бретоном, у которого была в руках привилегия на издание английской «Энциклопедии» Чамберса во французском переводе, но не было под руками людей, способных взяться за перевод этой книги. Дидро, которому было в это время 33 года и который уже давно чувствовал в себе силы взяться за большой и важный труд, посоветовал Ле-Бретону издать оригинальную французскую энциклопедию и составил для этого издания самый широкий план. Он задумал дать французскому обществу не какую-нибудь простую справочную книгу, не какое-нибудь мёртвое собрание технических терминов и отрывочных фактов, а такое произведение, которое вместило бы в себе всю философию века и показало бы ясно жизненное значение нового миросозерцания, смело объявляющего войну клерикальному деспотизму. Работа началась с 1749 года и продолжалась по 1766 год. В продолжение первых восьми лет Дидро разделял труды редакции с д'Аламбером, но в 1757 году, когда седьмой том «Энциклопедии» вызвал против себя жестокую бурю, д'Аламбер счёл благоразумным удалиться от такого опасного предприятия, и вся тяжесть редакционной работы и ответственности упала на одного Дидро. Сотрудники чувствовали ежеминутно припадки трусости; Ле-Бретон позволял себе, во избежание столкновений с властями, смягчать в статьях слишком резкие выражения, и Дидро всё это должен был улаживать и устраивать, ободрять сотрудников, обуздывать книгопродавца, хлопотавшего только о барышах, вести дружбу и тонкую политику с властями, хитрить и уступать в одних статьях и потом навёрстывать сделанные уступки под другими рубриками. Всё это он выполнил с блестящим успехом. При этом он относился так добросовестно к мельчайшим подробностям своего дела, что для удовлетворительного описания различных ремёсл и промыслов он проводил целые дни в мастерских, рассматривал с величайшим вниманием различные машины и усвоил себе все технические приёмы работников.

Книгопрода́вцы, как мы видели выше, выручили за «Энцикло́педи́ю» больше двух с половиною миллионов ливров чи-
стого барыша, а Ди́дро за всю свою семнадцатилетнюю
работу получил 20 000 ливров единовременно, да по 2 500 лив-
ров за каждый том. Впрочем, Ди́дро был некорыстолюбив; он с беспредельной щедростью помогал своим друзьям день-
гами и пером; он охотно поправлял и переделывал чужие
рукописи, приставлял к ним предисловия и вообще разбро-
сал множество блестящих мыслей по разным книгам своих
единомышленников. Дело не в том, говорил он часто, кем
сделана вещь, мною или другим; надо только, чтобы она была
сделана и сделана хорошо. Философские убеждения Ди́дро
дались ему не сразу. Он купил их ценой тяжёлых сомнений
и продолжительной умственной борьбы. Его сочинения указы-
вают на три фазы в его развитии. В 1745 году в сочинении
«*Essai sur le mérite et sur la vertu*» («Опыт о заслугах и о
добродетели») он является философствующим католиком и
доказывает, что добродетель может основываться только на
религии. В 1747 году в «Прогулке скептика» он, по словам
Геттина, «бросается в пропасть большого сомнения» и утвер-
ждает, что нет в человеческой жизни другой цели, кроме
чувственных наслаждений. Затем начинаются попытки спасти
что-нибудь из прежних верований, и Ди́дро на несколько
времени становится деистом; но эти попытки не удовлетворяют
его, и с 1749 года он уже на всю жизнь остаётся край-
ним материалистом. Этими последними убеждениями проник-
нуты все его работы, помещённые в «Энцикло́педии». Умирая
в 1784 году, он сказал, что *сомнение есть начало философии*.
Это были его последние слова.

Барон Гольбах, богатый человек, получивший в Париже
очень основательное образование, занимался естественными
науками, в особенности химией, кормил философов великоле-
пенными обедами и часто помогал им своими обширными
знаниями. Он писал для «Энцикло́педии» химические статьи и
печатал материалистические книги, никогда не выставляя на
них своего имени. Знаменитая его «*Système de la nature*»
вышла в свет тогда, когда Гольбаху было уже сорок семь
лет. В некоторых частях этого сочинения Гольбаху помогал
Ди́дро. Принимая в соображение тот ужас, которым эта
книга поразила всю философствующую Европу, мы можем
утверждать положительно, что «*Système de la nature*» соста-
вляет последнюю, крайнюю вершину в развитии отрицатель-
ных доктрин XVIII века.

Гольбах думает, что всё совершается в природе по вечным
и неизменным законам. Эта идея служит фундаментом для

всех его остальных построений. Человек, по его мнению, не может освободиться от законов природы даже в своей мысли. Как для чувствования, так и для мышления необходима, по мнению Гольбаха, нервная система, соприкасающаяся с внешним миром посредством органов и аппаратов зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Без органов и нервной системы нет ни мышления, ни чувствования, так точно, как без музыкального инструмента нет музыкального звука и, следовательно, нет также и отдельных качеств звука — нежности или пронзительности, певучести или пискливости, протяжности или отрывистости. Представить себе мысль, отрешённую от необходимых условий её проявления, то-есть от нервной системы, это, по мнению Гольбаха, всё равно, что представить себе звук, существующий независимо от инструмента. Это значит вообразить себе действие без причины... Материя, по мнению Гольбаха, неистребима; ни одна частица её не может исчезнуть; но частицы эти беспрестанно передвигаются, и вследствие этого передвижения формы и комбинации беспрестанно разрушаются и возникают. Передвижение частиц совершается по тем же вечным и неизменным законам, которыми обусловливается течение великих небесных светил. Это значит, что если частица материи сто миллионов раз будет поставлена в одинаковое положение, то она сто миллионов раз пойдёт по одному и тому же пути и вступит в одни и те же комбинации. Те частицы материи, которые входят в состав человеческого тела, подчиняются, по мнению Гольбаха, в своих движениях таким же точно вечным и неизменным законам. Из этого правила нет исключения. Как частицы желудочного сока вступают в химические соединения с частицами пищи *по необходимости*, как кровяные шарики поглощают кислород *по необходимости*, так точно и частицы мозга передвигаются и претерпевают химические изменения *по необходимости*. Результатом этих передвижений и химических изменений оказывается процесс мышления, который, следовательно, также, по мнению Гольбаха, отличается всегда характером непреклонной *необходимости*. Человек поступает так или иначе, потому что желает так или иначе; желание обусловливается предварительным размышлением, а размышление есть неизбежный результат данных внешних впечатлений и данных особенностей мозга. Значит, что же такое преступление и что такое наказание? Природа, по мнению Гольбаха, не знает ни того, ни другого; в природе нет ничего, кроме бесконечной цепи причин и следствий, — такой цепи, из которой невозможно выкинуть ни одного звена.

Повидимому, Гольбах должен быть самым ужасным и отвратительным человеком. Иначе каким образом мог бы он быть материалистом? Однакоже, к удивлению всех любителей доброй нравственности, Гольбах оказывается человеком хорошим. «Я, — говорит Гrimm, — редко встречал таких учёных и разносторонне образованных людей, как Гольбах; я никогда не встречал людей, у которых было бы так мало тицеславия и самолюбия. Без живой ревности к успеху всех наук, без стремления, ставшего у него второй природой, сообщать другим всё, что казалось ему важно и полезно, он бы никогда не выказал своей беспримерной начитанности. С его учёностью было бы то же, что с его богатством. Его никогда бы не угадали, если бы оч мог его скрыть, не вредя своему собственному наслаждению и особенно наслаждению своих друзей. Человеку таких взглядов не должно было стоить большого труда — верить в господство разума, потому что его страсти и удовольствия были именно таковы, каковы они должны быть, чтобы дать перевес хорошим правилам. Он любил женщин, любил удовольствия стола, был любопытен; но ни одна из этих склонностей не овладела им вплоче. Он не мог ненавидеть никого; только тогда, когда он говорил о распространителях угнетения и суеверия, его врождённая кротость превращалась в ожесточение и жажду борьбы».

Оканчивая эту статью, я советую читателям, заинтересовавшимся умственной жизнью прошлого столетия, прочитать книгу Геттнера «История всеобщей литературы XVIII века». В этой книге читатели найдут толковое, беспристрастное и занимательное изложение биографических фактов и философских доктрин в связи с общей картиной времени.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

I

Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Уменье читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты. Я оставляю в стороне тех отличных и усердных грамотеев, к разряду которых принадлежит чичиковский Петрушка. Я сосредоточиваю всё своё внимание на тех счастливцах, которые понимают смысл читаемых слов, предложений и периодов. Рассматривая только этот избранный кружок, я всё-таки прихожу к тому заключению, что очень немногие члены этой умственной аристократии обладают уменьем читать хорошие книги.

Если вам, читатель мой, удалось завоевать себе это драгоценное уменье, то вы, конечно, помните, каким продолжительным и упорным трудом было куплено это завоевание. Во времена вашего студенчества вы начали замечать, что жизнь совсем не такая простая и лёгкая штука, которую можно было бы изучить и постигнуть вполне по наставлениям родителей и по казённым учебникам, растворившим перед вами две-ри университета. Наставления родителей могли дать вам не-сколько хороших привычек. Казённые учебники могли сооб-щить вам сотни основных научных истин. Но вопрос: «как жить?» остался нетронутым. Над решением этого вопроса каждый здоровый человек должен трудиться сам, точно так, как женщина должна непременно сама выстрадать рождение своих детей. Для решения этого основного вопроса вам понадобилось перебрать, пересмотреть, проверить все ваши поня-тия о мире, о человеке, об обществе, о нравственности, о на-уке и об искусстве, о связи между поколениями, об отноше-ниях между сословиями, о великих задачах вашего века и ва-

шего народа. Занимаясь этим пересмотром, вы замечали у себя ошибки, которых до поры до времени нечём было поправить, и огромные пробелы, которых нечём было пополнить. Вы волновались, ваше бессилие приводило вас в ужас, вы тревожно искали ответов на такие вопросы, которых сами не умели ещё поставить и сформулировать, вы чувствовали, что вам необходимы какие-то материалы, какие-то знания, какое-то положительное содержание для мысли; весь ваш организм томился умственными потребностями, но вы сами решительно не могли определить, в чём именно вы нуждались. Вообще вы были очень похожи на того древнего царя, который видел страшный сон и потом, утром, не мог не только понять, но даже и припомнить его. От придворных гадателей требовалось, чтобы они сначала рассказали, а потом объяснили царю его таинственное и ужасное сновидение. Во время ваших умственных тревог вы также были окружены гадателями, хотя и не придворными. Наставники и товарищи, пережившие прежде вас умственный кризис, смотрели с кротким и разумным участием на ваши необходимые мучения. Значительно преувеличивая силу и мудрость этих гадателей, вы требовали от них, чтобы они разъяснили вам ваше состояние и потребности вашей собственной измученной души, изнемогающей под гнётом непривычных сомнений и неразрешимых вопросов. Гадатели указывали вам на хорошие книги. Вы хватались за них с зверскою жадностью, но так как вы не умели их читать, то они усиливали ваше беспокойство, погружали вас в отчаяние или увлекали вас на такую дорогу, которая не соответствовала ни вашим естественным наклонностям, ни окружающим вас обстоятельствам места и времени.

По вашим пробудившимся умственным потребностям вы уже были мужчиной. По вашим привычкам вы остались ещё ребёнком. Каждого умного человека вы принимали за учителя, каждую хорошую книгу за учебник. Вас не пугали трудности; вы готовы были, вы даже пламенно желали окунуться с головой в самую утомительную, самую скучную, самую добросовестную работу. Но вы, по старой привычке, хотели работать пассивно, не так, как трудится исследователь, а так, как занимается ученик. Вы готовы были одолевать груды книг и просиживать целые месяцы в библиотеке, но только с тем, чтобы знающий человек управлял вашими занятиями и ручался вам за их успех. В кругу ваших знакомых вы постоянно искали себе *развивателя*; на полках библиотек вы старались найти себе книгу *«развитие»*. Вы хотели, чтобы какой-нибудь человек или какая-нибудь книга влила в вас, как в бутылку, те знания, идеи и стремления, которые необходимы

честному и дельному работнику нашего времени; вы доверились безусловно и людям и книгам; вы не умели выбирать; если вам нравилась в человеке или в книге одна какая-нибудь сторона, то вы, увлекаясь одной этой стороной, принимали вместе с ней и весь оставшийся запас мыслей, в котором наверное было много непригодного и несостоятельного; если вас поражала в человеке или в книге какая-нибудь одна очевидная нелепость, то вы точно так же из-за одной этой нелепости браковали весь груз, в котором наверное можно было найти много интересных фактов и даже, быть может, несколько верных и глубоких идей. Само собою разумеется, что ни книги, ни люди не удовлетворяли вас вполне, потому что вы требовали от них невозможного; ни один человек не может быть *развивателем*, и ни одна книга не может быть *развитием*. И люди и книги могут быть только материалами, над которыми упражняется ваша пробудившаяся мысль. Эти материалы необходимы, потому что без впечатлений невозможна умственная работа. Но всё-таки это материалы, а не готовые убеждения. Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться *самостоятельно*, в вашей собственной голове, так точно, как процесс пищеварения совершается вполне *самостоятельно*, в вашем собственном желудке.

Сталкиваясь с различными людьми, читая различные книги, гоняясь за призраком *развития и готовых убеждений*, точно так, как алхимики гонялись за призраком *философского камня*, вы невольно сравнивали получаемые впечатления, становились в тупик над противоречиями, подмечали нелогичности, обобщали вычитанные факты и таким образом укрепляли по-немногу вашу мысль, закладывая фундамент собственных убеждений, и становились в критические отношения к тем людям и к тем книгам, от которых вы ожидали себе сначала чудесной благодати немедленного умственного просветления.

Наконец, ваши наклонности и способности развернулись и обозначились настолько, что вы перестали быть для самого себя мучительной загадкой. Познакомившись с своей собственной особой, вы в то же время поняли общее направление окружающей жизни; вы отличили передовых людей и честных деятелей от шарлатанов, софистов и попугаев; вы сообразили, куда передовые люди стараются вести общество; все эти сведения вы получили не за раз, не от одного человека и не из какой-нибудь одной книги; все эти сведения собраны вами по кусочкам, извлечены из множества различ-

ных впечатлений, заронены в ваш ум всякими крупными и мелкими событиями частной и общественной жизни. Незаметно проникая в вашу голову, все эти основные сведения сра-стались с вашим умом так крепко и превращались в такое неотъемлемое достояние вашей личности, что вы скоро поте-ряли всякую возможность определить, где, когда и каким образом приобретены составные части самых дорогих и непо-колебимых ваших убеждений.

Когда убеждения выработаны, когда цель жизни отыскана, —тогда начинается сознательное, разумное и плодотворное чте-ние хороших книг. До этого времени вы читали ощущью. Книги нравились или не нравились вам так, как может нра-виться или не нравиться шёлковая материя, кусок обоев, фар-форовая чашка, соус или пирожное; когда автор шутил, вы смеялись; когда он впадал в элегический тон, вы умилялись; когда он аргументировал горячо и красноречиво, вы соглаша-лись; когда он излагал свои мысли вяло и скучно, вы зевали. Из совокупности этих ощущений, воспринятых совершенно пассивно, составлялся ваш общий взгляд на книгу. Автор не мог быть ни вашим союзником, ни вашим противником, серь-ёзная цель книги оставалась вам непонятною, вы не могли судить ни о достоинстве этой цели, ни о том, насколько эта цель достигается и насколько автор остаётся верен самому себе. Вы не могли и не умели уловить связь, существующую между данною книгою и всеми явлениями окружающей жиз-ни; книга казалась вам отрывочным явлением, без корней в прошедшем, без влияния на будущее; поэтому вы и не могли сказать, что это за явление — дурное или хорошее и почему оно дурно или почему хорошо. Когда же знания ваши увели-чились настолько, что дали вам возможность примкнуть со-знательно к тому или к другому знамени, тогда вы начинали пылать тем фанатическим жаром, который составляет неотъ-емлемую принадлежность всевозможных неофитов. Дух ва-шей фанатической исключительности вы, разумеется, приме-нили также и к чтению книг. Вы считали достойными внимания только те книги, которые написаны людьми вашего лагеря. Все остальные книги следовало, по вашему мнению, если не сжечь, то по меньшей мере осмеять и забыть. Читая книгу, вы производили над автором строжайшее следствие, и, чуть только замечали, что автор в чём-нибудь погрешил против вашего корана, вы немедленно причисляли этого автора к огромной толпе пишущих идиотов и негодяев. Но чем боль-ше вы читали, тем яснее становилась для вас та истина, что цельные приговоры вроде восклицаний «лоб!» и «затылок!» неуместны и в отношении к людям и в отношении к книгам.

Под влиянием жизни и чтения ваши собственные убеждения очистились, выяснились и окрепли; вы пристрастились к ним **ещё** сильнее прежнего, вы сделались **ещё** непоколебимее, но вы в то же время поняли, что для торжества вашей же собственной любимой идеи вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами и мыслями таких людей, которые во многих отношениях уклоняются от вашего корана. Положим, например, что вы материалист. Краеугольными камнями вашего мироизречения оказываются труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые постоянно были действиями и веровали даже в откровение. Не станете же вы из-за этого обстоятельства отвергать их астрономические открытия? А если не станете, то вы не должны также относиться с пренебрежением ни к химическим работам Либиха, ни к физиологическим исследованиям Рудольфа Вагнера, ни даже к добросовестным компилятивным трудам Теодора Вайца¹⁴³, несмотря на то, что все они спиритуалисты, а Рудольф Вагнер даже панетист.

Положим далее, что вы фурьеист или прудонист. Спрашивается, каким образом отнесёtesь вы к общественной физике О. Конта¹⁴⁴ или к историко-философской теории Бокля? Причислите ли вы эти книги к вредным или к полезным явлениям? Станете ли вы отвергать или защищать эти идеи? С одной стороны, вы не можете не сочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся история есть борьба рассудка с воображением и что **сильнейшим** двигателем прогресса оказывается накопление и распространение знаний. Успеху этой мысли вы должны содействовать всеми вашими силами; с другой стороны, вы никак не можете сочувствовать ни контовской апологии нищенства, ни боклевскому мальтизианству¹⁴⁵. Но если бы вы вздумали, возмутившись этими нелепостями, забраковать целиком Конта и Бокля, то вы бы значительно ослабили ваши собственные идеи, отнявши у них ту подпору, которую они могут найти себе в исследованиях и размышлениях этих двух первоклассных умов. Значит, вы должны отделить светлые идеи от ошибочных суждений; вы должны пользоваться первыми и опровергать вторые. Пользуясь светлыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обязанности соглашаться с этими писателями во всём и превозносить каждое слово их сочинений. Опровергая то, что кажется вам ошибочным, вы нисколько не отступаете от того уважения, которое должны внушать вам великие мыслители. Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не значит разбить авторитет Бокля и не значит также поставить самого себя выше этого замечательного мыслителя. С другой сторо-

ны, сказать и доказать, что у Гизо или у Маколея встречаются иногда светлые мысли, вовсе не значит превратиться в единомышленника этих узких доктринёров. В том и в другом случае, т. е. опровергая Бокля и соглашаясь с Гизо, вы всё-таки остаётесь верны вашим собственным убеждениям, и вы пользуетесь той необходимой самостоятельностью, без которой невозможно сильное и плодотворное мышление и которая не должна стесняться ни раболепным благовением перед великими именами, ни фанатической исключительностью партий.

Так как критика должна состоять именно в том, чтобы в каждом отдельном явлении отличать полезные и вредные стороны, то понятно, что ограничиваться цельными приговорами значит уничтожать критику или по крайней мере превращать её в бесплодное наклеивание таких ярлыков, которые никогда не могут исчерпать значение рассматриваемых предметов. В теории эта мысль не может вызвать против себя никаких возражений. Всякий скажет, что это очень старая истина и что несостоятельность цельных приговоров давным давно засвидетельствована общеизвестными изречениями о пятнах на солнце и о золоте в грязи. Но в практической жизни цельные приговоры продолжают господствовать, и особенно сильно проявляется это господство у нас в России, где партии только что обозначились и почувствовали свою непримиримость. У каждой из наших партий есть свои кумиры, которые для противоположной партии оказываются чучелами и страшилищами. Каждое знаменитое имя европейской науки или литературы вызывает, с одной стороны, восторженное поклонение, а с другой — беспредельное и страстное порицание. Разногласие партий очень естественно, необходимо и безысходно, потому что настоящие причины противоположных суждений заключаются в противоположности интересов. Всякая попытка примирить партии была бы бесполезна и бесмысленна. Вместо примирения партий надо желать, напротив того, чтобы каждая партия обозначилась яснее и договорилась до последнего слова. Только тогда общество может узнать своих настоящих друзей и дать окончательную победу тому направлению мысли, которое всего более соответствует действительным потребностям большинства. Но именно для того, чтобы договориться до последнего слова, партии должны отказаться от цельных приговоров и подвергнуть одинаково тщательному анализу как своих кумиров, так и злейших своих противников. Вследствие такой операции многие кумиры утратят значительную долю своего сказочного великолечения, многие чучела и страшилища превратятся в довольно

обыкновенных и безобидных людей, но основные идеи партий обозначаются яснее, именно потому, что эти идеи управляли всем ходом анализа, проникшего в самую глубину предмета и оценившего все его подробности.

II

Читатель простит мне моё длинное и утомительное введение, когда узнает, что я намерен говорить о Гейне, обращая при этом особенное внимание на слабые стороны его поэзии. Гейне один из наших кумиров, и, конечно, в мире не было до сих пор ни одного поэта, который в более значительной степени заслуживал бы уважение и признательность мыслящих реалистов. Но чем важнее и колossalнее какое-нибудь явление, тем необходимее знать ему настоящую цену. Чем больше пользы может принести нашему умственному развитию чтение Гейне, тем сильнее надо стараться о том, чтобы к массе этой пользы не примешивалась ни одна частица вреда. Чем неотразимее действует поэзия Гейне на умы читателей, тем тщательнее эти читатели должны оберегать себя от умственного раболепства перед Гейне, потому что из этого раболепства может развиться вредное обожание тех недостатков и пятен, которые наложены на поэзию Гейне обстоятельствами времени и места. Приступая к разбору этих недостатков и пятен, я непременно должен был напомнить читателю, что критика не имеет ничего общего с враждою, что без постоянной, строгой и тщательной критики невозможно никакое разумное и плодотворное чтение и что всякое умственное идолопоклонство вредит той самой идее, во имя которой оно производится.

Принявши в соображение эти простые истины, читатель, конечно, поймёт, что, критикуя Гейне, я нисколько не желаю ослабить его влияние на русское общество, а, напротив того, стараюсь направить, сосредоточить, усилить это влияние, так чтобы ни одна его частица не пропадала даром и не вырождалась в нелепые и вредные уклонения, к которым сам Гейне очень часто подаёт повод своими эксцентричностями и внутренними противоречиями.

В настоящее время Вейнберг¹⁴⁶ издаёт *Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей*. Одиннадцать томов уже находятся в руках читающей публики, а всё издание будет состоять из 15 томов. Можно надеяться, что это издание найдёт себе многих читателей, но в то же время надо же лать, чтобы эти читатели сумели усвоить себе такую точку

зрения, с которой были бы ясно видны как достоинства, так и недостатки Гейне. Эту точку зрения я постараюсь указать читателю в моей теперешней статье.

Как понимает сам Гейне себя и свою литературную деятельность? На этот вопрос Гейне отвечает не раз стихами и прозою. Один из этих ответов особенно замечателен. «Я право не знаю, — говорит Гейне, — стою ли я, чтобы мне когда-нибудь украсили гроб лавровым венком. Поэзия, как ни любил я её, была для меня всегда лишь священной игрушкой или священным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большой цены славе поэта, и хвалить ли или бранить будут мои песни, меня мало беспокоит. Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за благо человечества» (т. II, стр. 120).

В этих словах заключается двойное противоречие. Ведя войну за благо человечества и считая себя *храбрым солдатом*, Гейне хочет в то же время служить чистому искусству. Два совершенно враждебные взгляда на искусство — утилитарный и художнический — укладываются рядом, один возле другого, в приведённых словах Гейне. *Поэзия была для меня лишь священной игрушкой*, говорит Гейне. В этих словах художнический взгляд на искусство выразился во всей своей наивности, и в этих словах заключается второе внутреннее противоречие, доведённое до самой поразительной рельефности. В самом деле, что такое *священная игрушка*? Есть ли какая-нибудь психическая возможность играть тем, что вы действительно считаете святыней, или считать священным то, что служит вашей игрушкой? Противоречия очевидны, а между тем все приведённые мною слова Гейне выражают чистейшую истину и дают превосходнейший ключ к пониманию всего Гейне, его миросозерцания, его стремлений, его поэзии. Когда есть внутренние противоречия в самом предмете, тогда они неизбежны и в его определении, и чем полнее и вернее определение, тем ярче должны в нём выступать внутренние противоречия. Да, Гейне был действительно и храбрым солдатом и чистым художником, и поэзия *была для него действительно священной игрушкой*, хотя такое сочетание понятий дико и неестественно до последней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно известна. Его сарказмы, направленные против традиционных доктрин, против политического шарлатанства, против национальных предрасудков, против учёного педантизма, против всех бесчисленных проявлений общеевропейской и специально немецкой

глупости, — его сарказмы составляют, без сомнения, самую яркую и единственную бессмертную сторону его поэзии. Не будь у него этих сарказмов, он замешался бы в толпу немецких поэтов, писавших гладкие стихи, и мы знали бы о нём столько же, сколько знаем, например, о каком-нибудь Людвиге Уланде, или Леопольде Шефере, или Эммануэле Гейбеле¹⁴⁷. Если мы в продолжение целого десятилетия переводим по частям прозу и стихи Гейне, если мы теперь издаём собрание его сочинений, если мы раскупим и прочитаем эти сочинения не только с удовольствием, но даже с некоторым благоговением, то, разумеется, всё это делалось, делается и будет делаться лишь из любви к сарказмам, или, другими словами, из ненависти к тем общеевропейским подлостям и глупостям, которыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы читаете Гейне, то самое течение мыслей почти никогда не занимает и не может занимать вас; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки; вы даже редко можете найти что-нибудь похожее на развитие мыслей; чаще всего вы имеете перед собою лёгкую и кокетливую болтовню о лёгких пустяках; но вы читаете терпеливо, внимательно, потому что вы постоянно находитесь в напряжённом ожидании, вы знаете, что вдруг блеснёт такая молния, которая с избытком вознаградит вас за незначительность всей прочитанной вами болтовни. Несмотря на ваше постоянное ожидание, молния всё-таки застает вас врасплох и поражает вас своей неожиданностью. Она явилась без всяких приготовлений, совсем не с той стороны, откуда вы её ожидали; она изумила, очаровала вас и исчезла; начинается опять весёлая болтовня; и вы опять с радостью готовы читать десятки страниц этой болтовни, лишь бы только добраться до новой молнии, такой же неожиданной и такой же очаровательной, как первая. Надежда на новую молнию и воспоминание о прежней помогают вам перебираться через те пустынные поляны, над которыми господствует бессмыслица романтически чистого искусства.

Но как ни великолепны молнии боевой храбрости и ядовитого сарказма, однако, нельзя не заметить, что пустынные поляны очень обширны и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по этим полянам, читатель начинает понимать, что такое *священная игрушка*. Смысл этих загадочных слов очень печален. Когда Гейне творит образы, не имеющие никакого, даже самого отдалённого, отношения к борьбе за благо человечества, тогда он благоговеет перед своею собственною виртуозностью и играет теми чувствами и мыслями, на которые нанизываются яркие и роскошные картины. Соедините

это благоговение с этим играньем, и в общем результате вы получите *священную игрушку*.

Но эти два потока — благоговение и игранье — не могут итти постоянно рядом, не действуя друг на друга и не смешиваясь между собою. С одной стороны, благоговение не может оставаться глубоким и совершенно искренним, потому что предмет этого благоговения — художническая виртуозность — растрачивается на мелочи, которые сам художник признаёт мелочами, годными только для забавы. Следовательно, сама виртуозность унижается и становится до некоторой степени смешною в глазах художника. С другой стороны, игра чувствами и мыслями становится почти серьёзным и торжественным делом, когда художник увлекается процессом творчества и одушевляется силою благоговения перед собственным волшебным могуществом. Словом, ни читатель, ни художник не знают наверное, какие чувства и мысли им приходится переживать вместе; ни читатель не верит художнику, ни художник не доверяется читателю; читатель боится принять слова художника за выражение искреннего чувства, боится увлечься этим чувством, потому что художник тотчас начнёт смеяться над тем, что могло показаться искренним порывом, и тогда читатель, распустивший нюни, попадёт в число сентиментальных дураков, неспособных понимать тонкую иронию; художник с своей стороны знает, что читатель осторегается и предвидит ироническую улыбку или циническую выходку; художник боится оказаться сентиментальнее читателя. Поэтому каждое чувство умышленно выражается так, что нет никакой возможности ни поверить его искренности, ни сказать наверное, что тут кроется ирония. «Ещё рано, — говорит Гейне в конце своего «Путешествия на Гарц», — солнце совершило только половину своего пути, и моё сердце благоухает так сильно, что пары его бьют мне в голову, и в этом опьянении я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо» (т. I, стр. 91). Эти последние слова прилагаются ко всей поэзии Гейне, и в этом постоянном отсутствии границы между иронией и небом, в этой невозможности отличить иронию от неба и положиться на искренность чувства заключается типический характер гейновской поэзии.

Благодаря этой особенности большая часть произведений Гейне в целом оказываются совершенно непонятными или, ещё вернее, в них нет никакой целости. Каждое произведение Гейне в целом оказываются совершенно непонятными или, гирлянда фантастических цветов, очень ярких, очень пёстрых, очень разнообразных, но набросанных неизвестно для

чего, рассыпанных без всякого общего плана и не имеющих между собою никакой связи. В предисловии к первому тому русского перевода Вейнберг высказывает следующие мысли: «Нам до сих пор случается встречать людей очень умных, развитых, но которые, будучи знакомы с Гейне только по тем переводам из него, которые существуют на русском языке, с каким-то странным изумлением смотрят на него и сами сознаются, что не понимают его, не понимают прелести, заключающейся в некоторых его произведениях. Это непонимание, как мы только что заметили, происходит от неполного знакомства с поэтом, с его своеобразною манерою, с его прихотливыми прыжками от одного предмета к другому, с его роскошною фантазией; не говорим уже здесь о жгучем остроумии, которое и каждому непосвящённому бросается в глаза» (т. I, стр. VII). Мне кажется, что с этим мнением невозможно согласиться. Если *непосвящённые* выучат наизусть все произведения Гейне с первого до последнего, они всё-таки останутся *непосвящёнными*, т. е. не дороются ни до какого осязательного смысла, не вынесут никакого определённого впечатления и, наконец, убедятся только в том, что тут решительно нечего искать и что под этими цветочными иероглифами нет ничего похожего на скрытую мудрость или на таинственную глубину. Своеобразность манеры, прихотливость прыжков и роскошь фантазии — всё это заметно с первого взгляда, всё это бросается в глаза каждому *непосвящённому* наравне с *жгучим остроумием*. Но всё это — и фантазия, и прыжки, и манера — относится только к *форме*, а не к *содержанию* поэтического произведения. Непосвящённый видит очень хорошо, не хуже Вейнберга, *как* выражает Гейне; но *что* именно он выражает, *что* он хочет выразить и передать читателям, *какие* чувства и мысли рвутся наружу из его души, *какие* внутренние убеждения управляют его пером и заставляют его рисовать бессмысленно блестящие арабески, это остаётся тайною для непосвящённого, это останется вечною тайною не только для непосвящённого, но даже и для самого Вейнберга, и я осмеливаюсь думать, что ключа к этой тайне не было даже и у Гейне. Мне кажется, Гейне ясен для себя и для других только тогда, когда он обнаруживает своё *жгучее остроумие*, т. е. когда он в качестве *храброго солдата* истребляет пронзительным смехом окружающие глупости и подлости. Когда же он обращается к более мирным занятиям, тогда он начинает небрежно и презрительно выкидывать из себя на бумагу какие-то клочки мыслей и чувств, которых он сам не понимает и которые, следовательно, навсегда останутся непонятными и для его

читателей. Я очень желал бы подтвердить мои слова наглядными и убедительными примерами, но сделать это очень трудно. Примеров существует очень много, и даже выбор не представляет никаких затруднений. Но вот в чём беда: чтобы доказать бессвязность и бесцельность произведений Гейне, надо рассказать их сюжеты; но бессвязность и бесцельность колossalны до такой степени, что невозможно уловить никакого сюжета. Образы, восклицания, слезливые шутки, насмешливые вздохи, притворные слёзы, эротические порывы мелькают и кружатся перед глазами, как снежинки во время метели. Разнообразие картин удивительное! Быстрота в смене впечатлений непостижима! Вы подавлены и опшеломлены пестротою красок. Вы принуждены сознаться, что автор обладает невероятной силой и подвижностью фантазии. Но зачем поднять весь этот ураган маленьких пёстреньких, недочувствованных чувств и недодуманных мыслей, к чему он клонится, что он хочет опрокинуть или построить, этого вы не будете понимать до тех пор, пока не преподаст вам своей таинственной мудрости какой-нибудь *посвящённый*, в существовании и возможности которого я решительно сомневаюсь. Если такие посвящённые действительно существуют и если до них дойдут когда-нибудь эти страницы, то я убедительно прошу их объяснить мне и другим недоумевающим профанам, каким образом возможно и следует понимать, например, известное произведение Гейне «Идеи. Книга Легран». Желая показать читателю, что без помощи мистагогов и иерофантов¹⁴⁸ нет возможности проникнуть в таинства этого произведения, которым всякий развитой человек восхищается по заказу, я постараюсь перечислить хоть малую долю тех странных картин, которые мелькают одна за другой в «Книге Легран».

В первой главе — комическая картина ада в виде огромной мещанской кухни. В аду слышится роковой напев песни о невыплаканной слезе, о той слезе, которой не выронила она, женщина, любимая поэтом, но не отвечающая ему взаимностью.

Во второй главе поэт, он же и граф Гангесский, хочет застрелиться, покупает себе пистолет, отправляется с ним завтракать в трактир и видит в стакане рейнвейна ост-индские пейзажи. Потом, выйдя на улицу, он встречается с хорошенькой женщиной, которая своим взглядом заставляет его остаться в живых.

В третьей главе поэт выражает свою радость и свою любовь к жизни.

В четвёртой главе поэт представляет себе, как он на ста-

ности лет схватит арфу и споёт молодым людям песню *про цветы Бренты*.

В пятой главе: «Сударыня, я обманул вас! Я не граф Гангесский!» Оказывается, что поэт родился на берегах Рейна. Потом являются три девушки: Гертруда, Катарина и Гедвига, и тётка их Иоганна. Все они только являются и ровно ничего не делают. В этой же главе Вейнберг показывает ясно, что он не принадлежит к числу *посвящённых* и вряд ли может исправлять должность мистагога. «При прощании, — говорит Гейне, — она (Иоганна) подала мне обе руки — белые, мильные руки — и сказала: ты очень добр, а когда ты сделаешься злым, то думай снова о маленькой умершей Веронике» (т. I, стр. 165). К этим словам Вейнберг присоединяет следующее подстрочное замечание: «Вероника — какое-то загадочное существо, о котором Гейне упоминает несколько раз с какой-то особенной грустью. Надо предположить, что это была женщина, которую он сильнее всех любил». Такое примечание мог бы, пожалуй, сделать и всякий *непосвящённый*. Предположение совершенно произвольное, и неизвестно, почему оно прицеплено к имени Вероники, а не к какому-нибудь из многих других женских имён, которые Гейне поминает также со вздохами и причитаньями такой же точно сентиментальной искренности. Вейнберг мог бы, например, с большим удобством сказать то же самое о Марии, которую Гейне во второй части «Путевых картин» вспоминает очень часто, постоянно называя её *умершую* или *мёртвой*, постоянно окружая её имя ореолом загадочности, постоянно напуская на себя по этому случаю колорит интересной элегической томности, сквозь которую просвечивает вечная насмешливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю на какие-то очень таинственные, никому не известные и несколько не замечательные события, которых он всё-таки не рассказывает и которые, по всей вероятности, никогда ни с кем не случались. Вообще надо обладать огромным запасом доверчивости и добродушия, чтобы принимать женские имена, рассыпанные по книгам Гейне, за имена действительно существовавших женщин, или чтобы видеть в тех любовных руладах и фиоритурах, которыми забавляется Гейне, намёки на радости и огорчения, действительно пережитые самим поэтом. Мне кажется, что всё это — чистейшая фантасмагория, вызванная великим виртуозом единственно для того, чтобы насладиться собственным волшебным могуществом, собственной необыкновенною способностью творить из ничего и разрушать в одну секунду самые яркие образы.

В шестой главе — воспоминания детства и превосходный

рассказ о том, как курфюрст выехал из Дюссельдорфа и как вошли в город французские войска.

В седьмой главе — юмористические подробности о школьном учении. Тут появляется барабанщик Легран, и Гейне рассказывает очень остроумно, каким образом этот Легран объяснял ему посредством барабанного боя смысл новейшей истории. Тут Гейне выходит на политическую тропинку и поэтому становится, разумеется, великолепен. Но уже в конце этой главы Гейне как достойный ученик наполеоновского барабанщика падает на колени перед великим императором.

Этими коленопреклонениями наполнены восьмая и девятая главы. «И Святая Елена, — говорит Гейне в IX главе, — сде-лается священным местом, куда народы Запада и Востока будут стекаться на поклонение, на судах, изукрашенных флагами, и сердца их окрепнут великим воспоминанием о действиях великого человека, пострадавшего при Гудсон-Ло, как сказано в писании Лас-Каза, Омеара и Антомарки»¹⁴⁹ (т. I, стр. 192). Как вам нравится это пророчество новой религии — наполеонианства? Впрочем, благоговение Гейне перед великим императором составляет такой интересный патологический феномен, что я буду говорить о нём ниже очень подробно.

В десятой главе барабанщик Легран, воплощённая скорбь великой армии о великом императоре, умирает, и Гейне, угадавши его последнее желание, прокалывает его барабан, чтобы он не был «рабским инструментом в руках врагов свободы». Из этих последних глав читатель узнаёт, что великий император был другом свободы и что барабаны его армии спасали Европу от рабства.

XI глава начинается словами «*Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame*» (От великого до смешного — один шаг, сударыня!). Эта истина доказывается тем, что когда Гейне оканчивает главу о смерти Леграна, тогда пришла старуха и попросила Гейне как доктора вырезать её мужу мозоли. Смешное состоит в том, что старуха приняла доктора прав за медика. Что же касается до великого, то его надо искать в рассказе о смерти Леграна; чтобы найти это великое, надо непременно обратиться к помощи иерофантов и мистагогов.

В XII главе написаны слова «немецкие цензоры» и затем десять строк точек. Переход от смешного и от глупой старухи к немецким цензорам не может никому показаться удивительным и резким.

В XIII главе — очень остроумные насмешки над немецким педантизмом и над учёной страстью к бестолковым цитатам.

Главы XIV и XV рассуждают о дураках и отличаются неподражаемым остроумием. «Я живу в том же городе, — говорит Гейне, — и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствие, когда подумаю, что всех дураков, которых я вижу, я могу употребить для своих сочинений: это чистые наличные деньги. Теперь у меня обильная жатва; бог благословил меня: дураки отлично уродились в этом году, и я, как хороший хозяин, употребляю их в небольшом числе, отбираю самых лучших и откладывая на будущее время. Меня очень часто можно встретить теперь на гуляни радостного и весёлого. Как богатый купец, потирая от удовольствия руки, ходит между ящиками, бочками и тюками своих товаров, так и я прохаживаюсь посреди моего народа. Все вы мне принадлежите, все вы мне одинаково дороги, и я люблю вас, как вы сами любите свои деньги, — а это много значит» (т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы можете судить об оригинальности и дерзкой весёлости этих двух глав.

В XVI главе появляется милая подруга с коричневой собакой. Гейне вместе с коричневой собакой сидит у ног милой подруги, смотрит ей в глаза, целует её руки и рассказывает ей о маленькой Веронике; что он рассказывает ей — неизвестно.

В XVII главе продолжаются сладостные подробности о милой подруге.

В XVIII главе мы узнаём, что «грудь рыцаря была полна тьмою и скорбью». У рыцаря происходит свидание с синьорой Лаурою на берегах Бренты, и «тайноственно тёмный покров лежит над этим часом». При этом читателю, по обыкновению, предоставляется понимать как угодно или даже совсем не понимать эту таинственную тёмную главу, заключающую в себе всего полторы странички.

В XIX главе — опять подруга с коричневой собакой, опять Вероника, растрогавшая Вейнберга, опять ост-индские пейзажи, хотя уже было объяснено, что Гейне — не граф Гангесский, и, наконец, жёлтые пеньковые панталоны, повредившие молодому человеку во время любовного объяснения. Словом ряд иероглифов-ребусов.

В XX главе — что-то такое о страдании и о том, что молодой человек хотел застрелиться. Этюю главою оканчивается «Книга Легран».

III

Подведём итоги. Из 20 глав только пять — VI, VII, XIII, XIV и XV — удобопонятны и замечательны по своему остроумию. Затем три главы — VIII, IX и X — славословят Напо-

леона; одна глава — XI — повествует о глупой старухе; одна глава — XII — состоит из точек, и, наконец, десять глав не заключают в себе ничего, кроме неясных намёков на какие-то чувства, которые испытал или о которых фантазировал поэт. Конечно, никто не запрещает поэту делиться с публикой своими чувствами или фантазиями: это даже прямая обязанность поэта; но во всяком случае публика имеет право желать, чтобы с нею говорили удобопонятным языком, чтобы все слова и образы, употреблённые поэтом, имели какой-нибудь ясный и определённый смысл, чтобы поэт не задавал ей неразрешимых загадок и не превращал своих произведений в длинную и утомительную мистификацию. Что такое *цветы Бренты*, что такое *Вероника*, что такое *невыплаканная слеза*, что такое *граф Гангесский*, и какой общий смысл выходит из всех этих таинственных незнакомцев — всё это такие вопросы, на которые читатель имеет полное право требовать себе ответа, и если он этого ответа не получает, то имеет полное право подумать и сказать, что поэт шутит с ним очень плоские шутки.

Было бы очень наивно думать, что в «Книге Легран» есть и общий смысл и великая цель, но что эта цель и этот смысл запрятаны в ней чересчур глубоко и вследствие этого могут быть отысканы и постигнуты только особенно развитыми и сведущими читателями. Ни цели, ни смысла в ней нет. Такою же точно бесцельностью, бессвязностью отличаются и все прочие сочинения Гейне, если брать и рассматривать каждое произведение в целом, а не по частям. Рассмотрите каждое произведение Гейне так, как я рассмотрел «Книгу Легран», и вы поневоле признаете верность моего непочтительного приговора.

Было бы также в высшей степени наивно думать, что бессвязность, бесцельность и бессмысленность могут когда-нибудь и при каких бы то ни было условиях превратиться в достоинства. Есть, конечно, любители, способные восхищаться этими уродливыми особенностями гейневской поэзии; есть даже простофили, желающие прививать эти уродливые особенности к ничтожным выкидышам своей собственной музы. Но те люди, которых ум не повреждён раболепными отношениями к авторитетам и не вертится, как флюгер, сообразно со всеми капризами эстетической моды, будут говорить постоянно, что стройность, цельность и целесообразность составляют необходимые качества каждого замечательного произведения, к какой бы отрасли науки и литературы оно ни принадлежало. Безалаберность всегда и везде остается крупным недостатком.

Но, с другой стороны, для человека, сколько-нибудь способного понимать и чувствовать, нет ни малейшей возможности отрицать чарующую прелест гейневской поэзии. Прелест эта состоит, конечно, не в безалаберности, не в своеобразной манере, не в прихотливых прыжках, словом — совсем не в том блестательном юродстве, которое, по мнению поверхностных ценителей, образует всю настоящую сущность и весь букет этого небывалого и невиданного литературного явления. Прелест эта освещает и согревает туманы безалаберности, она заставляет нас забывать и прощать всё: и нелепость манеры, и безобразия обезьяньих прыжков; она заставляет нас читать с удовольствием то, в чём нет никакого человеческого смысла; но она сама, эта загадочная прелест, выходит из гораздо более глубоких источников, не имеющих ничего общего с достоинствами или недостатками отдельных поэтических произведений. Прелест эта заключается в неотразимом обаянии той сильной, богатой, нежной, страстной, знайной, кипучей и пылающей личности, которая смотрит на вас во все глаза из-за каждой строки, как бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что-то дышит, что-то волнуется, что-то смеётся и плачет, что-то томится и кипит во всех этих хаотических образах, во всей этой дикой гармонии шальных и разбросанных слов.

Перед вами стоит живописец. На палитре его горят краски невиданной яркости. Он взмахнул кистью, и через две минуты вам улыбается с полотна или даже просто со стены прелестная женская физиономия. Ещё две минуты, и вместо этой физиономии на вас смотрят демонически-страстные глаза безобразного сатира; ещё несколько ударов кисти, и сатир превратился в развесистое дерево; потом пропало дерево, и явилась фарфоровая башня, а под ней китаец на каком-то фантастическом драконе; потом всё замазано чёрной краской, и сам художник оглядывается и смотрит на вас с презрительно-грустной улыбкой. Вы глубоко поражены этой волшебно-быстрой сменой прелестнейших картин, которые взаимно истребили друг друга и от которых не осталось ничего, кроме безобразного чёрного пятна. Вы спрашиваете у художника с почтительным недоумением, зачем он губит свои собственные великолепные создания и зачем он при своём невероятном таланте играет и шалит красками, вместо того чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, — отвечает вам художник.

Вы этого ответа не понимаете и просите дальнейших объяснений.

— Нет сюжетов, — поясняет художник.

Изумление ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетов везде и всегда можно найти бесчисленное множество.

Улыбка художника становится ещё презрительнее и ещё грустнее.

— Сюжетом, — говорит он, язвительно отчеканивая каждое слово, — я называю такую мысль, которая овладевает всем моим существом и не даёт мне покоя ни днём, ни ночью, до тех пор, пока я не вырву её из себя и не прикую её к полотну. Таких сюжетов я не вижу и не чувствую в окружающей меня атмосфере.

— Но ведь были же у вас мысли, — говорите вы, — когда вы сейчас набрасывали одну картину за другой или, вернее, одну картину на другую.

— Это не мысли, — отвечает художник, — это мимолётные настроения. Вы сами видели, как они рождались и как исчезали. Такими мыльными пузырями, как эти настроения, можно только удивлять и забавлять глупых ребятишек вроде вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этот щекотливый разговор.

Я взял тут живописца единственно для того, чтобы мысль моя выразилась как можно нагляднее. Действуя в области такого искусства, которое по своим средствам неизмеримо богаче и по своему влиянию на общество неизмеримо сильнее живописи, Гейне подобно моему фантастическому живописцу не находит себе сюжетов и вследствие этого постоянно шалит и играет, вместо того чтобы творить. Играли и иллюстриями наполнена вся его жизнь, но можно сказать наверное, что он с радостью отдал бы половину этой жизни, лишь бы только какая-нибудь высшая сила дала ему возможность бросить поэтические шалости и посвятить остальную половину жизни серьёзным и великим подвигам творчества. Грациозное бездельничанье мучительно и невыносимо для такого титана, который чувствует себя способным взбросить Пелион на Оску¹⁵⁰ и вступить в крупный разговор со всеми обитателями Олимпа. Во время своих хронических шалостей Гейне небрежно роняет на пол свои жгучие сарказмы, которые возбуждают в окружающих людях чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы могут только служить образчиками титанической силы и не дают никакого приблизительного понятия о тех колоссальных подвигах, которые совершил бы этот титан, если бы ему удалось найти сюжет и взяться за работу, способную овладеть всем его существом. Но сюжет не нашёлся, и титан умер, не совершивши ничего такого, что было бы вполне

достойно его собственных сил. Титан не виноват. Если он не нашёл сюжета, то значит сюжета действительно и не было, по крайней мере для него, для титана. Лень было искать, скажете вы, оттого и не нашёл. Ошибаетесь, отвечу я. Титану нужен великий сюжет, а такой сюжет — не иголка. Он не прячется от людей и не заставляет себя искать днём с огнём; такой сюжет сам дерзко и нахально лезет людям в глаза, поражает их воображение, разнуздывает их страсти и возбуждает вокруг себя ожесточённую борьбу, которая, начавшись в области мысли, быстро захватывает и наполняет сферу реальной жизни. Только такой мировой сюжет способен зажечь в груди титана тот великий пожар, от которого полетят во все стороны, как блестящие искры, гениальные произведения. У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы подкрепить это мнение прочными доказательствами, надо сначала окинуть общим взглядом главные отрасли титанической деятельности, а потом объяснить смысл той исторической эпохи, которая произвела и воспитала поэзию Гейне.

IV

Титаны бывают разных сортов.

Одни из них живут и творят в высших областях чистого и бесстрастного мышления. Они подмечают связь между явлениями, из множества отдельных наблюдений они выводят общие законы; они вырывают у природы одну тайну за другой; они прокладывают человеческой мысли новые дороги; они делают те открытия, от которых перевёртывается вверх дном всё наше миросозерцание, а вслед затем и вся наша общественная жизнь. Их открытия дают оружие для борьбы с природой сотням крупных и мелких изобретателей, которым наша промышленность обязана всем своим могуществом. Это Атласы¹⁵¹, на плечах которых лежит всё небо нашей цивилизации (премилое небо, не правда ли?). Но подобно Атласу эти титаны *мысли* покрыты вечным снегом. Они ищут только истины. Им некогда и некого любить; они живут в вечном одиночестве. Их мысли хватают так высоко и так далеко, их труды так сложны и так громадны, что они во время своей многолетней работы ни в ком не могут встретить себе сочувствия и понимания и ни с кем не могут поделиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасениями. Их начинают понимать и боготворить тогда, когда цель достигнута и результат получен.

Но и тогда между ними и массою остаётся длинный ряд посредников и толкователей. Только при содействии этих второстепенных и третьестепенных деятелей масса получает кое-какое слабое и смутное понятие о том, что выработалось в громадных черепах *этых* Давалагири и Гумалари⁵² нашей породы. Чистейшим представителем этого типа может служить Ньютон.

Другой тип можно назвать *титанами любви*. Эти люди живут и действуют в самом бешеном водовороте человеческих страстей. Они стоят во главе всех великих народных движений, религиозных и социальных. Несмотря ни на какие зловещие уроки прошедшего, несмотря на кровавые поражения и мучительную расплату, люди такого закала из века в век благословляют своих ближних бороться, страдать и умирать за право жить на белом свете, сохраняя в полной неприкословенности святыню собственного убеждения и величия человеческого достоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титан идёт впереди всех и с вдохновенною улыбкою на устах первый кладёт голову за то великое дело, которого до сих пор ещё не выиграло человечество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширные фактические знания, ни на ясность и твёрдость логического мышления, ни на житейскую опытность и сообразительность. Их сила заключается только в их необыкновенной чуткости ко всем человеческим страданиям и в слепой стремительности их страстного порыва. В былое время, впрочем ещё не очень давно, они искали себе точку опоры в бездомном пространстве голубого эфира, потом они стали верить в какую-то отвлечённую справедливость, которая уже давно собирается восторжествовать над земными гадостями и, наконец, по мнению добродушных титанов любви, должна когда-нибудь приступить к выполнению своего давнишнего замысла. Впрочем, с тех пор, как изобретено книгопечатание и усовершенствована во всей Европе сельская и городская полиция, титаны любви во многих отношениях изменились к лучшему. Им теперь уж нельзя и незачем проповедывать на открытом воздухе, где голубой эфир рассказывает всякою желающему заманчивые сказки о всевозможных точках опоры для всевозможных воздушных замков. Им нельзя увлекать слушателей восклицаниями и телодвижениями. Им пришлось взяться за перо. Они превратились в кабинетных работников и поневоле должны были познакомиться с великими трудами титанов мысли. Это сближение между двумя главными областями человеческого титанизма, это слияние деятельной любви и трезвой науки за-

ключает в себе единственные возможные задатки будущего обновления.

Третью и последнюю категорию можно назвать *титанами воображения*. Эти люди не делают ни открытий, ни переворотов. Они только схватывают и облекают в поразительно яркие формы те идеи и страсти, которые воодушевляют и волнуют их современников. Но идеи должны быть выработаны и страсти предварительно возбуждены другими деятелями — титанами двух высших категорий. Материалом может служить для титанов воображения только то, что люди знают, и то, чего они хотят. Само собою разумеется, что не все человеческие знания с одинаковым удобством облекаются в яркие и блестящие формы; никакому титану не придет в голову дикая и смешная мысль писать поэму о спутниках Юпитера, или о скрытом теплороде, или о произвольном зарождении. Для поэмы годится только та часть человеческих знаний, которая глубоко затрагивает человеческие страсти, и притом не только страсти одних специалистов, способных даже горячиться и ссориться из-за спутников Юпитера, но страсти всех людей, имеющих возможность познакомиться с данным вопросом. Такими вечно жгучими знаниями могут быть только знания человека о междучеловеческих отношениях. В этой же области междучеловеческих отношений разыгрываются также и все серьёзные и упорные человеческие желания, все те желания, которыми характеризуются и отличаются друг от друга различные исторические эпохи. Значит титаны воображения располагают богатым запасом материала тогда, когда социальные знания и понятия людей отличаются большою определённостью и когда желания или стремления очень ясно обозначены, очень сильны, настойчивы и решительны. Напротив того, когда люди сомневаются в состоятельности своих знаний и в то же время не умеют отдать себе ясный отчёт в своих собственных желаниях, когда им противно прошедшее и когда они плохо верят в лучшее будущее, тогда титаны воображения сидят без сюжетов и от нечего делать шалят и играют красками, звуками, словами и образами.

Великое несчастье титана Гейне состоит вовсе не в том, что какой-нибудь Меттерних¹⁵³ или какой-нибудь союзный сейм мешали ему откровенно объясняться с немецкой публикой. Это несчастье состоит даже и не в том, что сама немецкая публика отличалась поразительным тупоумием и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своим злейшим врагам, разорвать на части своих лучших и бескорыстнейших друзей и подарить миру из своих

собственных недр тысячу новых Меттернихов и тысячи новых союзных сеймов. Когда человеку мешает работать грубая материальная сила, это, конечно, очень неприятно. Когда человека не понимает то общество, которому он отдаёт кровь своего сердца и сок своих нервов, это ещё более неприятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но всё это такие препятствия, которые могут и должны быть побеждены сильным напряжением ума и воли. При всех этих препятствиях настоящий источник мужественной энергии и боевого задора остаётся нетронутым и незасорённым. Против материальной силы можно действовать хитростью. Инквизиторскую проницательность меттерниховских ищек можно всегда обманывать неистощимым запасом тех уловок, извортов, цветистых образов и иронических двусмысленностей, которые постоянно находятся под руками каждого даровитого писателя и которые придают искусно затаённой мысли особенную шаловливую прелест и раздражающую пикантность. Нет той гремучей змеи, которую нельзя было бы опрятно и грациозно уложить в невиннейшую и грациознейшую корзину, наполненную самыми великолепными и душистыми цветами. И в этой борьбе между меттерниховской ищейкой и даровитым писателем победа непременно должна склоняться на сторону последнего, потому что ищейка действует по обязанности службы, а писатель новинуется повелительному голосу всепоглощающей страсти.

Равнодушие и непонимание публики — это также не бог знает какое неодолимое препятствие. Если бы это равнодушие и непонимание простипалось на всю литературу, без малейшего исключения, т. е. если бы публика не обнаруживала никакой охоты к чтению и не имела бы никакого понятия об умственных наслаждениях, тогда препятствие было бы действительно очень серьёзно и далеко превышало бы силы не только одного даровитого писателя, но даже и целого поколения даровитых писателей. Но когда занятия текущей литературой сделались насущной потребностью для того общества, которое считает и называет себя образованным, тогда даровитому писателю уже вовсе не трудно сформировать себе в самое короткое время понимающих и страстно внимательных читателей. Если общество равнодушно к политике и не понимает современной истории, то, по всей вероятности, оно не равнодушно к театру и превосходно понимает микроскопические красоты лирического пустословия и романического селадонства. Чем равнодушнее становится общество к великим жизненным идеям, тем страстнее оно привязывается к прекрасным формам, кото-

рых понимание, впрочем, также извращается и мельчает под влиянием общего умственного оцепенения. В Европе так бывало всегда. Эпохи политического застоя и отступления были всегда золотыми годами для чистого искусства, которое быстро овладевало всеми умственными силами общества и потом немедленно вырождалось и доходило до последних пределов вычурности и уродливой аффектации. Если титан воображения хочет при таких условиях овладеть вниманием общества, то ему стоит только воспользоваться теми формами, которые нравятся его современникам, отчистить, отполировать эти формы, навести на них новый, волшебно-ослепительный блеск и потом влить в них то живое содержание, которое было вытеснено из жизни и из литературы тяжёлыми годами невольной умственной неподвижности. Современники накинутся сначала на ослепительную форму, сияющую пуще всякого медного таза, но процесс мышления, направленного на ближайшие и важнейшие интересы и вопросы жизни, обладает всегда и для всех такой неотразимой, такой раздражительной и затягивающей прелестью, что ядро ореха очень скоро будет вынуто из шелухи и что шумные споры о красотах и недостатках оболочки уступят место гораздо более ожесточённым прениям о питательности или ядовитости содержания. Пробуждение притуплённого и деморализованного общества начинается обыкновенно с очищения его эстетических понятий, совсем не потому, что эти понятия важнее всех остальных, а потому, что деморализованное и притуплённое общество только с этой стороны оказывается доступным для вразумлений. Эту сторону слабее караулят официальные аргусы, любители тупости и безнравственности; кроме того, сама публика только с одной этой стороны сохраняет способность видеть, слышать, чувствовать, понимать, интересоваться и увлекаться. Руководствуясь тем инстинктом, которым обладают титаны, Лессинг¹⁵⁴ в Германии и Белинский в России начали обновление общества со стороны его эстетических понятий, которые при дальнейшем развитии умственного движения должны были отодвинуться на самый задний план. Гейне также очень ловко умел бороться с равнодушием публики и побеждать её непонимание. Как Лессинг и Белинский сами делались на всю жизнь эстетиками для того, чтобы положить конец неограниченному господству эстетики, так точно Гейне, осмеивая и убивая бессодержательный романтизм, пользовался в течение всей своей жизни романтическими формами, которых причудливая и необузданная дикость очаровывала его современников.

Стало быть величайшее несчастье Гейне заключалось не в умственной убогости немецкой публики.

Настоящее, роковое несчастье, гораздо более неотразимое, чем Меттерних и филистёрство, состояло в том, что сама соль земли находилась в недоумении и не знала на-верное, что и как солить. Лучшие люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокруг себя и внутри себя твёрдую точку опоры и не могли её найти. Их мучило безверие в самом обширном и глубоком значении этого слова. Они не знали, на что надеяться и чего желать. В этом отношении лучшие люди первой половины XIX века были гораздо несчастнее своих предшественников и своих преемников. Предшественники верили в политический переворот; преемники верят в экономическое обновление; а по-средине лежит тёмная трущоба, наполненная разочарованием, сомнением и смутно-беспокойными тревогами; и в самом центре этой тёмной трущобы сидит самый блестящий и самый несчастный её представитель — Генрих Гейне, который весь составлен из внутренних разладов и непримиримых противоречий.

IV.

Передовые мыслители XVIII века были глубоко убеждены в том, что хорошее правительство может в самое короткое время поставить любой народ на высшую ступеньку цивилизации и блаженства. Мудрый законодатель и золотой век — это, по их мнению, были два понятия, неразрывно связанные между собою, как причина и следствие. Задача человечества представлялась в самом простом и элементарном виде: обезоружь тиранов, посади мудрецов в государственный совет и потом блаженствуй. Если ты хочешь упрочить своё блаженство на вечные времена, то наблюдай только за тем, чтобы мудрецы не глупели и не лукавили. Чуть заметил недосмотр или фальшь, сейчас отставляй мудреца от должности, замещай его новым благодетелем и будь уверен, что блаженству твоему не предвидится конца. Те люди, которые веруют в конституцию, как в универсальное лекарство, рассуждают именно таким образом, потому что всевозможные конституционные гарантии и уравновешивания клонятся исключительно к тому, чтобы урегулировать смещение мудрецов, пришедших в негодность, и выбор новых мудрецов, существующих занять их место. Откуда взялось это заблуждение, обольстившее XVIII век и не совсем утратившее свою силу до настоящего времени, понять не

Трудно. Дело в том, что дурное правительство действительно может причинить народу необъятную массу разнообразного зла. Если бы дурному правительству, вроде турецкого или персидского, удалось при помощи вооружённой силы утвердиться в роскошной стране, населённой деятельным и даровитым народом, и если бы это дурное правительство успело задушить все взрывы народного негодования, то через несколько десятилетий страна превратилась бы в пустыню и остатки народа сделались бы толпою нищих, идиотов и негодяев. Такое разрушение народного богатства, народных сил и народного ума производилось перед глазами тех мыслителей, которых работы положили свою печать на всё умственное движение прошлого столетия. Дурное правительство Людовика XIV, Филиппа Орлеанского и Людовика XV превращало Францию в пустыню, а французов в нищих, которым были одинаково сподручны идиотизм, негодейство и голодная смерть. Мыслители могли проследить шаг за шагом всё развитие зла; они могли доказать самым осознательным образом, что всё это зло сделано дурным правительством. Они видели собственными глазами, как колоссально может быть влияние правительства в дурную сторону; они умозаключили совершенно справедливо, что народ испытал бы значительное облегчение, если бы правительство на будущее время просто и скромно стало воздерживаться от грубых ошибок и от слишком скандалёзного озорства. Но тут уже трудно было остановиться во время на пути умозаключений. Тут сейчас подвёртывалась та, по-видимому несомненно истинная мысль, что если правительство может всё погубить, то оно может также всё спасти, воссоздать, исправить, обновить и довести до высшей степени совершенства.

Итак, в XVIII веке дело шло о том, чтобы вручить правление искренним друзьям и достойным представителям народа. Такой опыт был произведён во Франции и окончился неудачею. Неудачею не в том смысле, что революция не принесла Франции никакой пользы, а только в том смысле, что результат не соответствовал наивно преувеличенным ожиданиям народа и его вождей. Феодализм был вырван с корнем; поземельная собственность распределилась равномернее. Вместо тысячи местных обычаяев выработан один общий кодекс гражданских и уголовных законов, одинаково обязательных для герцога и для мужика; наследственное чиновничество уничтожено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство заменено новым, гораздо более рациональным, быстрым и дешёвым. Словом, великое множество

августовых стойл, не очищенных со времени Гуго Капета¹⁵⁵, спесено прочь до основания. В числе этих стойл цехи заслуживают самого почтного упоминания. Вообще в одно десятилетие был сделан невероятно громадный и совершенно бесповоротный шаг вперёд, которого потом не могла затушевать самая бешеная реакция. Восстановить цехи, внутренние таможни, местные обычаи, церковную десятину, помешичьи права — шалишь! Об этом не осмеливалась заикнуться даже *Chambre introuvable** того толстого Людовика¹⁵⁶, который наперекор всем историческим фактам упорно называл себя XVIII-м. Это значило бы буквально искать вчерашнего дня или прошлогоднего снега. Но золотой век всё-таки не наступил, а надежды были так неудержимо размашисты и так сильно возбуждены, что уже одно это обстоятельство, одно это ненаступление золотого века повело за собою великое, долговременное и мучительное разочарование.

В это время под влиянием разочарования и реакции в Европе распустился чахлый и бледный цветок либерализма. Надежды наши разбиты, думали искренние либералы, потому что эти надежды вообще были неосуществимы. Золотой век всеобщего довольства и ненарушимого братолюбия не наступит никогда. Мечтать нам бесполезно. Стремиться к нему безумно и преступно. Земля слишком мала и бедна. Люди слишком многочисленны. Страсти их слишком пылки и разнообразны. Вечная борьба между людьми неизбежна. Поэтому надо заботиться только о том, чтобы борьба всегда и везде решалась личными достоинствами, а не прерогативами рождения. Надо твёрдо стоять на той почве, которую расчистили для нас великие принципы 1789 года. С одной стороны, надо отстаивать приобретения великого переворота против отвратительных замыслов реакционеров, мечтающих о восстановлении феодализма, с другой — надо держать в ежовых рукавицах тех сумасбродов, которые, считая себя законными преемниками великих деятелей, пытаются увлечь общество в бездну анархии, разорения и варварства. Так рассуждали либералы, и по этой программе располагались все их действия.

Искренние либералы, желавшие доставить народу счастье, но считавшие это счастье недостижимым для масс, составляли незначительное меньшинство. Настоящая боевая армия либерализма состояла из таких людей, которые жадно собирали плоды великого переворота и нисколько не же-

* Бесподобная палата¹⁵⁷. — Ред.

лали, чтобы число счастливых собирателей увеличилось. На развалинах старого феодализма утвердилась новая плуто-кратия, и бароны финансового мира, банкиры, негоцианты, коммерсанты, фабриканты и всякие *надуванты* вовсе не были расположены делиться с народом выгодами своего положения. Слово *плутократия* происходит от греческого слова *плутос*, которое значит *богатство*. Плутократией называется господство капитала. Но если читатель, увлекаясь обольстительным звучанием, захочет производить *плутократию* от русского слова *плут*, то смелая догадка будет неверна только в этимологическом отношении.

Бароны финансового мира образовали новый класс привилегированных особ и, прикрываясь великими принципами 1789 года, стали защищать только свои собственные привилегии. Те искренние друзья народа, которым пришлось жить и действовать в первой половине текущего столетия, очутились таким образом в компании самого сомнительного достоинства.

Рыхлая и бессвязная политическая партия, составленная из близоруких лавочников, честолюбивых щарлатанов, уклончивых юристов и немногих искренних, но глубоко разочарованных друзей народа, могла иметь некоторый смысл и кое-какую энергию только тогда, когда надо было осаждивать и обуздывать шальных реакционеров, потерявших на старости лет последние остатки здравого человеческого рассудка. Император Франц, князь Меттерних, союзный сейм, герцог Веллингтон, маркиз Лондондерри¹⁵⁸, *Chambre introuvable*, Карл X, иезуиты и пietисты были настоящим и неоценённым сокровищем для комически несчастной партии либералов. В самом деле, чем бы эти несчастные либералы стали наполнять свои досуги, чем могли бы они заработать себе европейскую знаменитость, какими терновыми венцами могли бы они избороздить свои интересно-бледные лбы, если бы великолупные реакционеры не доставляли им обильных случаев оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать, горячиться и доказывать торжественно, что дважды два — четыре и что мужик не любит платить десятину? Как только пылкие обожатели средневекового порядка вымерли или перестали быть опасными, как только либеральная партия одержала победу над своими благодетелями, так тотчас же либеральная партия расползлась на свои составные части. Честные и умные люди отшатнулись от неё прочь, а легион пройдох и торгащей, осенённый знаменем *великих принципов*, стал представлять такое уморительное зрелище, что обнаружилась настоящая необходимость свернуть

и спрятать тихим манером компрометирующее знамя и выставить новый штандартик, на котором вместо крикливых слов *братство, равенство, свобода!* было написано приглашение не воровать носовых платков и не ломать мостовую. Либералы очень горячо и настойчиво добивались свободы печати, но свобода печати была им необходима только для того, чтобы доказывать ежедневно, что дважды два — четыре, что бережливость есть мать всех миллионов и всех добродетелей, что силою ума и характера подёнщик может сделаться банкиром и пэром Франции, что евреи имеют основательные причины считать себя людьми и что папе было бы очень полезно познакомиться с системою Коперника, открыть свои объятия всему человечеству и записаться в ряды просвещённых и умеренных либералов. Когда же свободная печать начала знакомить мир с новыми истинами, опасными для финансового феодализма, тогда либералы первые закричали «караул!» и выдумали новое слово *licence* для обозначения печатных ужасов, от которых надо укрываться под защиту городского сержанта.

Барышники знали, чего хотели. Они были очень довольны собой и всею политикою. Внутренние противоречия их не смущали. Они говорили, что жизнь — не математика и что непоколебимая верность основной идеи так же невозможна в жизни, как невозможен в природе математический маятник. Этим людям было хорошо, тепло и весело. Смотря по требованиям данной минуты, они то отвергали принцип, допуская в то же время его последствия, то отвергали последствия, допуская принцип.

Так, например, в первой четверти нашего столетия многие английские лорды пожелали увеличить доходность своих владений и с этой целью нашли удобным превратить пахотные земли в пастища, на которых должны воспитываться феноменально жирные и прекрасные быки и бараны. Когда окончился срок заключённым контрактам, тогда владельцы предложили фермерам уходить на все четыре стороны и вслед за тем немедленно приказали разрушить те усадебные строения, в которых эти люди родились, выросли, быть может даже состарились и надеялись умереть. Тысячи семей оказались без приюта, старики и дети умирали от истощения сил, женщины разрешались от бремени в открытом поле; словом, происходили такие странные сцены, которые, повидимому, были уместны и позволительны только во время нашествия неприятеля. Либеральная европейская пресса ударила в набат. Вот, мол, они каковы, эти олигархи, эти феодалы, эти варвары и кровопийцы!

Все эти либеральные завывания можно было приостановить одним простым вопросом: земля чья?

— Земля господская.

— Так чего же вы беснуетесь?

— Но эти несчастные фермеры! Куда же они пойдут?

— Куда угодно. В рабочий дом, в тюрьму, в Ирландский канал, в Немецкое море, в ближайший пруд, на виселицу, к чорту на кулички или в какое-нибудь другое злачное и приятное место. Лорды не имеют права и как добрые граждане, уважающие законы своего отечества, даже не желают стеснять своих бывших фермеров в выборе новой резиденции.

— Это ужас, это убийство!

— Неправда! Это логика!

Вы, господа либералы, учились римскому праву. Вы называете его *писаным разумом* (*la raison écrite*). Вам должно быть известно, что право собственности есть *jus utendi et abutendi* (право пользоваться и злоупотреблять). Желая получать с своей земли возможно большие доходы, лорд только пользуется этой землёй, а не злоупотребляет. Значит он не только не выступает из должных границ своего неотъемлемого и священного права, но даже далеко не доходит до тех границ, которые очерчены вокруг него вашим *писаным разумом*. Из-за чего же вы лезете на стену, когда всё в обществе обстоит благополучно и когда спокойно и торжественно развёртываются прямые и законные последствия той идеи, перед которой вы стоите на коленях? Если же римское определение кажется вам неудобным, попробуйте сочинить новое. Но при этом будьте осторожны. Вы рискуете поднять из свежей могилы труп обезглавленного Бабёфа. Вы рискуете вызвать из глубины далёкого прошедшего великие тени Кая и Тиверия Гракхов¹⁵⁹. Вы рискуете потревожить грозный призрак аграрных законов.

Много таких потоков красноречия можно было бы направить против европейских либералов, осуждавших энергические хозяйственные распоряжения английских землевладельцев. Но все эти потоки пропали бы даром, потому что либералы решительно ничем не рисковали. Опасность угрожала бы им только в том случае, если бы они хоть сколько-нибудь уважали логику. Для человека последовательного изменить римское определение собственности значит перестроить сверху всё здание междучеловеческих отношений. Для просвещённого либерала это значит внести в книгу законов лишнюю ограничительную закорючку,

способную порождать ежегодно две-три сотни лишних процессов.

Когда благоухания какого-нибудь авгиева стойла доходят просвещённого и чувствительного либерала до кончины или до обморока, тогда либерал, очнувшись и собравшись с силами, брызгает в убийственное стойло одеколоном, или ставит в него курительную свечку, или выливает в него банку ждановской жидкости.

И к этой либеральной партии, к этому разлагающемуся трупу Жиронды¹⁶⁰, был привязан в течение всей своей жизни гениальный поэт Генрих Гейне.

VI

Сарказмы Гейне злы, метки и картины. Но те политические убеждения, из которых они вытекают, очень неглубоки, неясны и нетвёрды. Гейне — *храбрый солдат*; он преисполнен владеет оружием, но в его нападениях нет общего плана и руководящей идеи.

Гейне — либерал, но как человек очень умный, очень страстный, переполненный горячою любовью к людям, он никогда не мог застыть и одеревянеть в близорукой и самодовольной рутине либерализма. Он оставался вечно неудовлетворённым не только в действительной жизни, но даже и области мыслей и желаний. Вокруг себя он не находил ни одного явления, к которому можно было бы привязаться горячей и безраздельной любовью. Внутри себя он не находил ни одной идеи, на которую можно было бы опереться, ни одного желания, ради которого стоило бы, очертя голову, броситься в пропасть, ни одной мечты, которой умный человек мог бы отдаваться без оглядки всеми силами своего существа.

Находясь в таком положении, спокойные и холодные натуры, подобные Гёте и Горацию, мирятся с тем убеждением, что *жизнь — пустая и глупая шутка*, принимают за правило, что надо *жить, пока живётся*, устраивают своё существование по рецепту умеренной и светлой эпикурейской мудрости, пишут грациозные оды к Лигурину и к Делии¹⁶¹ или делают свой кайф на пёстрых и мягких подушках западно-восточного дивана.

Но для настоящих титанов, для бурных и вулканических натур, подобных Гейне и Байрону, такое сахарное блаженство остаётся навсегда непонятным и недоступным. Эти люди могут быть до некоторой степени счастливы только

тогда, когда они окунаются с головой в омут страсти и ожесточённой борьбы за идею. Этим людям необходимы цельные и громадные чувства, сильные и мучительные потрясения нервной системы. Им необходимо любить, ненавидеть, желать, стремиться и бороться так, чтобы при этом совершенно забывать о мелких будничных интересах собственной личности. Всё это не всегда оказывается возможным, потому что в истории случаются длинные и томительные, скучные антракты, когда старые идеи блёкнут и линяют, а новые только что начинают зарождаться в рабочих кабинетах немногих титанов, ещё неизвестных своим современникам. Во время таких антрактов цельным и громадным чувствам не к чему привязаться; а между тем эти чувства всё-таки ищут себе выхода и всё-таки никак не могут разменяться на мелкую монету усладительных вздохов, грациозных симпатий, миловидных волнений, покорных улыбок и официальных восторгов. Зная пустоту и бесцветность своего времени, несчастные титаны воображения, удручённые потребностью любить, ищут себе предмета любви до конца своей жизни, мечутся, как угорелые, из угла в угол, перерывают весь мир существующих идей, стараются влюбить себя насилием и при этом смеются над своими бесплодными усилиями таким демоническим смехом, от которого у слушателей мороз пробегает по коже. Наконец, длинный ряд бесплодных усилий доводит титана до такой лихорадочной раздражительности и награждает его на всю жизнь такой болезненной недоверчивостью, что ему случается брать в руки, осматривать со всех сторон и потом бросать с презрительным смехом в общую кучу забракованных нелепостей ту самую идею, в которой заключается заря лучшей исторической будущности и которая могла бы доставить ему, несчастному титану, самые высокие из всех доступных человеку наслаждений.

Сам Гейне превосходно понимал или по крайней мере очень верно угадывал настоящую причину своего рокового несчастия, не имевшего, конечно, ничего общего с какой-нибудь личной утратой или со старой историей о том, что он *её* любил, а она *его* любила.

«Любезный читатель, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — может быть и ты из числа тех благочестивых птичек, что согласно вторят песне о байроновской разорванности, песне, которую мне уже лет десять наставляют и напевают на все лады и которая даже в черепе маркиза, как ты видишь, нашла отголосок? Ах, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать об этой разорванно-

сти, пожалей лучше, что самый мир разорван из конца в конец. Ведь сердце поэта — центр мира; как же не быть ему в настоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось у него цело, тот только доказывает, что у него прозаическое, оторванное от всего мира сердце. По моему же сердцу прошёл большой мировой разрыв, и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокой милостью в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества. Прежде, в древние и средние века, мир был цел; несмотря на внешние борьбы, было единство в мире; были и цельные поэты. Станем чтить этих поэтов и радоваться ими; но всякое подражание их целостности будет ложью, которая не обманет ничьего здорового глаза и не избегнет тогда насмешки. Недавно с большим трудом добыл я в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, очень жаловавшегося на мою байроническую разорванность, и от фальшивых красок его нежных сочувствий к природе, которыми веяло на меня от книги, как от свежего сена, бедное сердце моё, и без того надорванное, чуть было не лопнуло от смеха, и я невольно вскричал: «Любезный мой интендант-советник Вильгельм Нейман! Что вам за дело до зелёных деревьев?» (т. II, стр. 154).

Большой мировой разрыв, проходящий по сердцу поэта и отражающийся в разорванности его произведений, — это, конечно, очень смелый поэтический образ, но в этом образе несколько не искажена и даже не преувеличена самая чистая истина. Читателя могут ввести в заблуждение только слова Гейне о цельности мира в древние и средние века. Основываясь на этих словах, читатель может подумать, что сердце поэта могло быть цело только тогда и что поэтическая разорванность родилась на свет вместе с началом великой борьбы против средневековых идей и учреждений. Такое мнение читателя было бы совершенно ошибочно. Разорванность лежит в гораздо более тесных и ясно обозначенных границах. Никаких признаков разорванности нельзя найти не только в поэтах времён Людовика XIV, не только в Мильтоне и Клопштоке¹⁶², но даже в Шиллере и во всех передовых мыслителях, господствовавших над умами французов во второй половине прошлого столетия. При Людовике XIV мир был ещё цел, хотя средневековый порядок был уже нарушен в самых существенных своих чертах. В XVIII веке мир был уже разорван диаметрально противоположными стремлениями двух непримиримых партий, из которых одна тянулась к будущему, веровала в разум, а

другая ухватывалась за прошедшее и не веровала ни во что, кроме штыков и картечи. Мир был разорван, но сердца поэтов и друзей человечества были в высшей степени цельны, здоровы и свежи. Эти сердца очутились целиком по одну сторону разрыва. В мыслях, в чувствах, в желаниях Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего похожего на раздвоенность или нерешительность. Эти люди не знали никаких колебаний и не чувствовали никогда ни малейшей жалости или нежности к тому, что они отрицали и разрушали. По силе своего воодушевления, по резкой определённости своих понятий, по своей невозмутимой самоуверенности эти люди могут выдержать сравнение с любым средневековым фанатиком. А фанатизм и разорванность — два понятия, взаимно исключающие друг друга. Та разорванность, которую Гейне видит в самом себе и в Байроне, составляет прямой результат громадного разочарования, овладевшего лучшими людьми образованного мира после неудачного финала французской революции. Тут лучшие люди стали сомневаться в верности своих идей, тут они бросили грустный и тревожный взгляд назад, на оторванное прошедшее, и тут их сердца попали под черту мирового разрыва, потому что им показалось, что вместе с прошедшим они оторвали от себя часть своей собственной души. Это был оптический обман. Эти ужасы привиделись им только потому, что будущее было заслонено серыми и грязными тучами, сквозь которые ещё не пробивался луч новой руководящей идеи, способной заменить собой потерянную веру в чудотворную силу голых политических переворотов. Когда появилась эта идея, тогда исчезла разорванность лучших людей, исчезла впредь до ближайшего общеевропейского разочарования, если только такое разочарование действительно возможно. На наших глазах живут и действуют снова цельные люди, идущие вперед очень твёрдыми шагами к очень определённой цели. В Прудоне, в Луи Блане, в Лассале нет уже никаких следов байроновской или гейневской разорванности. Если бы в наше время сформировался великий поэт, то его сердце наверное было бы также перекинуто целиком за черту мирового разрыва, и эта цельность не имела бы ничего общего с интендант-советником Вильгельмом Нейманом и с запахом свежего сена.

Замечу между прочим, что стрела, пущенная мимоходом в какого-то неизвестного или, может быть, даже не существующего интендант-советника Вильгельма Неймана, попадает прямо в грудь тайного советника Вольфганга фон-Гёте. Трудно предположить, чтобы это косвенное нападение было

стелано нечаянно. «Путевые картины» были изданы в 1826 году, тогда, когда Гёте был ещё жив и когда все немцы, считавшие себя сколько-нибудь компетентными судьями в деле поэзии и возвышенных ощущений, буквально лежали у ног этого человека, торжественно возведённого в сан величайшего из европейских поэтов. Поэтому нет почти ни малейшей возможности допустить то предположение, что Гейне, размышляя о характеристических особенностях истинного поэта, упустил из виду ту крупную личность, которая считалась в то время настоящим воплощением поэзии. Если же Гейне, рассуждая о мировом разрыве, хорошо помнил поэтическую физиономию Гёте, то Гейне должен был также видеть и понимать очень ясно, что сердце Гёте осталось совершенно нетронутым, что в этой цельности нет ничего похожего на страстную цельность Вольтера и Дидро, что, следовательно, сердце Гёте *оторвано от всего мира* и что *судьба не сочла-его достойным поэтического мученичества*. Эти заключения совершенно неотразимы. Никто, конечно, не скажет о произведениях Гёте, что они распространяют запах свежего сена и возбуждают в читателях гомерический хохот, но зато можно сказать наверное, что бесчисленное стадо подражателей великого индиферентиста наградило Германию целыми стогами свежего сена и что *любезный интендат-советник Вильгельм Нейман*, от которого едва не лопнуло бедное сердце Гейне, наверное падал ниц перед Гёте и со всей добросовестной аккуратностью прусского чиновника старался итти по его следам. *Quod licet Iovi, non licet bovi* (что позволено Юпитеру, то не позволено быку); но тот Юпитер, который увлекает многие тысячи быков на ложную дорогу, быкам вовсе не свойственную, никак не может считаться просветителем скотного двора. Гёте, конечно, очень умён, очень объективен, очень пластичен и так далее; всё это при нём и остаётся на вечные времена. Но своему отечеству Гёте сделал чрезвычайно много зла. Он вместе с Шиллером украсил, тоже на вечные времена, свинью голову немецкого филистёрства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистёр имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самой бесцветной пошлостью бурггерского прозябания. Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остаётся безнадёжным пошляком, и твёрдо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо. И всё это происходит от того, что в великих поэтах немецкого филистёрства нет живой струи отрицания. Именно

по этой причине их любят и читают немецкие филистёры, и по этой же самой причине, любя и читая их, они остаются филистёрами. Где нет жёлчи и смеха, там нет надежды на обновление. Где нет сарказмов, там нет и настоящей любви к человечеству. Если хотите убедиться в этой истине, припомните, например, великолепные сарказмы против книжников и фарисеев. Тогда вы увидите, до какой степени неразлучны с истинной любовью ненависть, негодование и презрение.

VII

Не удовлетворяясь либерализмом и в то же время не имея возможности выработать себе собственными силами другой, более широкий и разумный взгляд на явления общественной жизни, Гейне в деле политики поневоле остался навсегда блестящим дилетантом. Лучший из немецких либералов, Людвиг Берне¹⁶³, стоявший уже на пороге новых экономических теорий, не раз печатно упрекал и уличал Гейне в легкомыслии, в бесхарактерности и даже в совершенном отсутствии серьёзных политических убеждений. «Я, — говорит Берне в своих «Парижских письмах», — могу снисходительно смотреть на детские игры, на страсти юноши. Но когда в минуту самой кровавой битвы мальчишка, гоняющийся на поле сражения за бабочками, попадёт мне под ноги; когда в минуту большого бедствия, когда мы горячо молимся богу, молодой фат становится подле нас в церкви и только глазеет на молодых девушек да перемигивается и перешёптывается с ними, — тогда, не будь сказано в обиду нашей философии и гуманности, мы не можем не сердиться... Кто признаёт искусство своим божеством и тут же, смотря по расположению духа, обращается с молитвами к природе, тот в одно и то же время является преступником против искусства и против природы. Гейне выпрашивает у природы её нектар и цветочную пыль и строит её улей из воска искусства, но он не строит улей для того, чтобы хранить в нём мёд, а собирает мёд для того, чтобы наполнить улей. Оттого-то он не трогает, когда плачет, потому что вы знаете, что слезами он только поливает свои цветочные гряды. Оттого-то он не убеждает тогда, когда говорит правду, потому что в правде он любит только прекрасное. Но правда не всегда прекрасна, она не всегда остаётся прекрасною. Проходит много времени, пока она зацветёт, а от цветет она прежде, чем принесёт плоды. Гейне поклонялся бы немецкой свободе, если бы она была

и в полном цвету; но так как по причине холодной зимы она закрыта навозом, то он не признаёт и презирает её. С каким прекрасным одушевлением он говорит о республиканцах в церкви св. Марии, о их геройской смерти! То была счастливая битва, в которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивление своим врагам и умереть прекрасною смертью за свободу! Но если бы в этой битве не было столько прекрасного, Гейне посмеялся бы над нею. Если бы в ту приснопамятную минуту, когда Франция очнулась от своего тысячелетнего сна и поклялась, что не будет больше спать, Гейне посадили в залу Мяча (*jeu de Paume*), он сделался бы самым отчаянным якобинцем. Но заметь он в кармане Мирабо¹⁶⁴ трубку с красно-чёрно-золотой кисточкой — к чорту свободу! И он ушёл бы оттуда и стал бы писать прекрасные стихи в честь прекрасных глаз Марии-Антуанетты»¹⁶⁵.

Политический дилетантизм Гейне охарактеризован здесь великолепно. Но Берне очень сильно ошибается в одном пункте. Он отрицает у Гейне способность глубоко любить и ненавидеть. Он говорит, что Гейне плачет для того, чтобы слезами поливать свои цветочные грядки. Он думает, что великому разорванному поэту легко, приятно и весело быть дилетантом. Он не видит трагической, роковой и мучительной стороны этого дилетантизма. Это грубая ошибка, впрочем совершенно естественная со стороны раздражительного и страстного политического бойца. Что Гейне не был на самом деле счастливым и легкомысленным мотыльком, что его слёзы и его смех стоили ему не дёшево, что ему были коротко знакомы жестокие внутренние бури и разрушительные умственные тревоги, — это доказывается всего убедительнее тем страшным расстройством нервной системы, которое под конец его жизни буквально наложило на него венец *поэтического мученичества*. Если бы Берне мог предвидеть такой исход, он, по всей вероятности, не решился бы упрекнуть в поливании цветочных грядок великого и несчастного поэта, изнемогавшего под блестящим, но тяжёлым крестом вынужденного дилетантизма. Далее, очень странен упрёк в том, что Гейне презирает немецкую свободу, закрытую навозом по причине холодной зимы. Тут Берне, повидимому, зарапортовался. По крайней мере трудно понять, какой осознательный смысл вложен в эту хитрую метафору. *Холодная зима* — торжество феодалов и ретроградов. *Навоз* — система Меттерниха и союзного сейма. Прекрасно! Но во время такой *холодной зимы* нечего и говорить о немецкой свободе, как о реальном факте. Немецкая свобода как реальный факт положительно не существует, если она

боится простуды и благоразумно почивает под навозом. А что не существует, того нельзя ни презирать, ни уважать. Если же Берне толкует тут об *идее* немецкой свободы, то, во-первых, *идея* не знает никаких времён года, всегда находится в полном цвету, никогда не лежит под навозом и вообще повинуется только законам своего собственного внутреннего развития. А во-вторых, Гейне при всей своей необузданной страсти персифлировать врагов и друзей никогда не отзывался насмешливо или презрительно об *идее* немецкой свободы. Как бы то ни было, главный факт — действительное существование гейневского дилетантизма — всё-таки не подлежит ни малейшему сомнению.

В книге своей «О Людвиге Берне» Гейне выписывает приведённый выше отрывок из «Парижских писем» для того, чтобы показать, какие на него взводились неосновательные обвинения. «Не определёнными словами, но всевозможными намёками меня обвиняют там, — говорит Гейне, — в самом двусмысленном образе мыслей, если уже не в совершенном отсутствии его. Точно таким же образом даётся там заметить, что я отличаюсь не только индифферентизмом, но противоречием с самим собою» (т. VI, стр. 316).

Гейне совершенно напрасно говорит о каких-то *всевозможных намёках*. Берне, напротив того, выражает свои обвинения *самыми определёнными словами*. Читатель уже видел образчик этих обвинений и, по всей вероятности, согласится, что в резких сравнениях и антитезах Берне нет ничего похожего на косвенный намёк. Кажется, нет возможности выражаться яснее, прямее и нагляднее. Гейне думает и утверждает, что он стоит выше подобных обвинений, и не хочет оправдываться. Но именно в той самой книге, где он цитирует «Парижские письма», он чуть не на каждой странице даёт внимательному читателю самые поразительные доказательства своего политического безверия и дилетантизма. Он как будто нарочно старается подтвердить все те обвинения, к которым он относится с такой великолепной самонадеянностью.

Гейне не хочет, чтобы его считали союзником Берне. Книга «О Людвиге Берне» была написана именно для того, чтобы провести между обоими писателями ясную пограничную черту. Ставясь отделить себя от Берне, Гейне в то же время не может не уважать его. Этим искренним и глубоким уважением проникнута вся книга, в которой автор, тем не менее, сурово осуждает Берне и нередко персифлирует его. Отклоняя от себя всякую умственную солидарность с

таким писателем, которому он сам не может отказать в глубоком уважении, с таким писателем, который всё-таки до конца жизни боролся и страдал за великую и святую идею, Гейне, очевидно, должен был сбрать все свои силы, пересмотреть все свои убеждения и представить самую полную и отчётиливую картину своего собственного образа мыслей, такую картину, которая доказала бы неопровергимо ему самому и всем его читателям неизбежность, необходимость и глубокую законность его разрыва с величайшим предводителем немецких либералов. Гейне сам понимает главную задачу своей книги именно таким образом: «Я считаю себя обязанным, — говорит он, — изобразить в этом сочинении и мою собственную личность, так как вследствие сплетения самых разнородных обстоятельств как друзья, так и враги Берне, говоря о нём, непременно заводили с большим или меньшим доброжелательством или зложелательством речь о моей литературной и общественной деятельности» (т. VI, стр. 311).

Какими же чертами изображает Гейне свою собственную личность? Такими чертами, которые приводят читателя в изумление, но вместе с тем отнимают у него всякое право пожаловаться на недостаток откровенности. Дилетант несколько не драпирует в мантию глубокомысленных выражений. Художник сам себя выдаёт головою.

«Надо, — говорит Гейне, — собственными глазами видеть народ во время действительной революции, надо нюхать его собственным носом, надо слышать его собственными ушами, чтобы понять, что хотел сказать Мирабо словами: «Нельзя сделать революцию лавандным маслом». Пока мы читаем о революциях в книгах, всё выходит очень красиво, и с ними повторяется та же история, что с пейзажами, отлично вырезанными на меди и превосходно отпечатанными на дорогой веленевой бумаге; в этом виде они чаруют ваш взор, а посмотришь на них в натуре, то убедишься совсем в противном: вырезанный на меди навоз не воняет, а через вырезанное на меди болото легко перейти глазами в брод» (т. VI, стр. 240).

В той же самой книге Гейне пускает следующую тираду по поводу Июльской революции:

«Лафайет¹⁶⁶, трёхцветное знамя, «Марсельеза»... Кончилась моя жажда спокойствия. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что должен, что обязан делать... Я — сын революции и снова берусь за оружие, над которым моя мать произнесла своё полное чар благословение... Цветов, цветов! Я уверен, что мими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте

мне лиру, чтобы я спел боевую песню. Из неё вылетят слова, подобные пламенным звёздам, которые стреляют вниз с небесной высоты и сожигают чертоги и освещают хижины... Слова, подобные метательным копьям, которые взлетают на седьмое небо и поражают набожных лицемеров, которые пробрались там в святую святых... Я весь — радость и песнопение, весь — меч и огонь» (т. VI, стр. 208).

Теперь читатель, сравнивая оба приведённые отрывка, начинает понимать сурово-печальные слова Берне о мальчишке, преследующем пёструю бабочку на поле кровопролитного сражения. *Во-первых*, весь лирический восторг Гейне происходит — если верить его собственному объяснению — оттого, что он созерцает революцию на столбцах газеты, где напечатанный навоз не воняет и где можно легко перейти в брод глазами через напечатанное болото. Гейне называет себя сыном революции, но его сыновняя любовь кончается там, где она становится несовместной с лавандным маслом. Все эти ужасные минуты борьбы между матерью и лавандным маслом несчастный поэт остаётся неизменно верен портрету матери, отлично вырезанному на меди и превосходно отпечатанному на дорогой веленевой бумаге. Благоговение перед портретом тем более прочно, что оно никогда не может помешать обожанию лавандного масла. *Во-вторых*, любуясь портретом своей матери, Гейне, как настоящий ребёнок, сосредоточивает своё внимание не на выражении её лица, а на ярких лентах её чепчика, на тонком узоре её шитого воротничка и на блестящих камушках её дорогое ожерелья. Знакомясь с революцией по газетам; он не задумывается над её результатами, а только восхищается её шумом, блеском и эффектностью самой борьбы. *Лафайет, трёхцветное знамя, «Марсельеза»!* Экая, подумаешь, благодать! Дряхлый старик, которого водит за нос первый искатель приключений! Пёстрый лоскут, напоминающий миру о колоссальных разбоях Наполеона! И плохие стишки, положенные на бравурную музыку! Гейне забавляется сувенирчиками в то время, когда решается участь даровитого и энергического народа, которому до сих пор постоянно подсовывали пёстрые лоскутья и эффектные песенки вместо здоровой пищи, разумного труда, свободных учреждений и общедоступного образования. Смотреть на революцию с эстетической точки зрения значит оскорблять величие народа и профантировать ту идею, во имя которой совершается переворот.

В жизни народов революции занимают то место, которое занимает в жизни отдельного человека вынужденное убий-

ство. Если вам придётся защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то может случиться, что вы убьёте нападающего на вас негодяя. Впоследствии вы будете вспоминать об этом убийстве безо всякого особенного смущения, потому что, рассматривая ваш поступок со всех сторон и обсуживая его строжайшим образом, вы постоянно будете получать тот результат, что убийство было неизбежно и что всякое другое поведение было бы с вашей стороны низкою трусостью и подлою изменою в отношении к тем лицам, которые имели полное право рассчитывать на вашу защиту. Но, совершенно оправдывая свой насильственный поступок, вы всё-таки никогда не будете считать особенно счастливым тот день, в который вы были принуждены зарезать или застрелить человека. Вы не будете желать, чтобы такие эффектные случаи повторялись в вашей жизни почаще. Печальная необходимость, в которую вы были поставлены, никогда не перестанет казаться вам очень печальною. Если же вы, паче чаяния, начнёте гордиться, хвастаться и восхищаться тем мужеством, которое вы обнаружили во время схватки, то благородные люди подумают о вас совершенно справедливо, что вы — человек пустой и трусливый, которому как-то раз удалось не струсить и который потом носится с своим неожиданным припадком храбрости, как с каким-нибудь восьмым чудом света.

То же самое можно сказать и о насильственных переворотах, которые, кроме того, можно также сравнить с оборонительными войнами. Каждый переворот и каждая война сами по себе всегда наносят народу вред как материальный, так и нравственный. Но если война или переворот вызваны настоятельно необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают, так точно, как вред, наносимый меркуриальным лекарством, ничтожен в сравнении с тем вредом, который принципиально бы развитие сифилитической болезни. Тот народ, который готов переносить всевозможные унижения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, находится при последнем издохании. Его непременно поработят соседи или уморят голодною смертью домашние благодетели. Но, с другой стороны, такой народ, который тешится переворотами как привычною забавою, всегда оказывается пустым, ничтожным, жалким, больным и глубоко развращённым народом. Для примера достаточно сослаться на испано-американские республики, в которых правительства сменяются чуть ли не

ежемесячно; при этом не мешает сравнить их с Соединёнными штатами, в которых со времени войны за независимость был всего только один переворот.

Чтобы судить о каком-нибудь перевороте, надо всегда сравнивать то, что было накануне борьбы, с тем, что получилось на другой день после победы. Тогда можно будет решить, законен ли данный переворот в своей исходной точке и плодотворен ли он в своих результатах. Переворот, вырванный из своей естественной связи с ближайшим прошедшим и с ближайшим будущим, оказывается просто грязною свалкой, которою может восхищаться только пустогословый батальный живописец. Относясь с почтительным сочувствием к какому-нибудь перевороту, мыслящие защитники народных интересов поступают таким образом вовсе не из любви к шумным демонстрациям и занимательным потасовкам, а только из любви к тем бедным людям, которым после переворота сделалось немного легче жить на свете. Если бы это облегчение могло быть достигнуто путём мирного преобразования, то мыслящие защитники народных интересов первые осудили бы переворот как ненужную трату физических и нравственных сил.

Если бы Гейне, понимая ясно цель и смысл великих переворотов, видел возможность их полного успеха, если бы он держал в руках ариаднину нить, способную вывести массу из лабиринта лишений и страданий, то, разумеется, созерцание великой идеи, заключающей в себе спасение человечества и пробивающей себе дорогу в действительную жизнь, доставило бы нашему поэту такое высокое умственное наслаждение, которое совершенно отбило бы у него охоту развлекаться мелкими сувенирчиками вроде трёхцветной трялки или справляться о том, употребляется ли лавандное масло во время народных движений. Но так как Гейне был заранее убеждён в том, что народ и после переворота останется при своей прежней грязной нищете, то эстетический взгляд батального живописца и одерживал решительную победу над смутными и безнадёжными стремлениями разочарованного прогрессиста. Не имея возможности интересоваться серьёзным смыслом переворота, потому что такого смысла он в нём не предполагал, Гейне любовался и восхищался позами, костюмами, смелостью и стойкостью патриотических бойцов. Восхищение это производилось издали. Когда же Гейне подошёл поближе и заметил отсутствие лавандного масла, тогда он спокойно зажал себе нос и просвистал свою насмешливую песенку. Всё это со стороны Гейне очень понятно, но всё это вместе составляет

полное и отчётливое отречение от серьёзной политической деятельности. Кто смотрит на события с эстетической точки зрения, тот не может быть двигателем событий, так точно как не может быть хирургом тот ребёнок, который смотрит на ланцеты, как на блестящие игрушки.

Далее Гейне характеризует свой политический образ мыслей той любопытной подробностью, что ему в молодости очень хотелось сделаться народным оратором, но что, к сожалению, он не может привыкнуть к табачному дыму, жестоко свирепствующему в собраниях немецких республиканцев.

Затем он объявляет, что если народ пожмёт ему руку, то он, Гейне, немедленно вымоет её. Подаривши миру такие великие политические истины, Гейне считает себя вправе третировать Берне с высоты своего величия, потому что Берне переносит табачный дым и не таскает с собою рукомойника в народные собрания, где производятся крепкие и многочисленные рукопожатия.

Гейне заподозревает Берне в личной зависти.

«И именно в отношении ко мне, — говорит Гейне, — покойный (Берне) предавался таким личным чувствам, и все его нападения на меня были не что иное, как мелкая зависть, которую маленький барабанщик чувствует к большому тамбур-мажору. Он завидовал моему высокому пломажу, который так смело развеялся по воздуху, моему богато вышитому мундиру, на котором было столько серебра, сколько он, маленький барабанщик, не мог бы купить за все свои деньги, завидовал ловкости, с которой я махал тамбур-мажорским жезлом, любовным взглядам, которые бросали на меня молодые девочки и на которые я, может быть, отвечал с некоторым кокетством» (т. VI, стр. 261).

Гейне влюблён в самого себя, потому что ему не удалось влюбиться в идею. Это очевидно и нисколько не удивительно. Но мы имеем полное право не считать Берне мелким спинетником, тем более что сам Гейне даёт нам материалы для его оправдания.

«Срастные речи, — говорит Гейне, — в духе рейнско-баварских ораторов доводили до фанатизма многие умы, и так как республиканизм такое дело, которое понять гораздо легче, чем, например, конституционную форму правления, для уяснения которой необходимы многие другие сведения, то прошло немного времени, как тысячи немецких ремесленников сделались уже республиканцами и проповедывали новые убеждения. Эта пропаганда была гораздо опаснее всех тех выдуманных пугал, которыми вышеупомянутые доносчики

пугали немецкие правительства, и писаное слово Берне, может быть, много уступало в могуществе его устному слову, с которым он обращался к людям, принимавшим эти слова с немецкой верой и распространявшим их у себя в отечестве с изумительным рвением» (т. VI, стр. 237).

Итак, Гейне хотел и не мог сделаться народным оратором по неспособности переносить табачный дым. А Берне хотел, и мог, и переносил дым, и действовал, и фанатизировал тысячи немецких ремесленников, которые оставались для Гейне зелёным виноградом. Кто же из двух, Гейне или Берне, обладал богато вышитым мундиром и махал тамбур-мажорским жезлом? Кто из двух имел более основательные причины завидовать другому?

VIII

Политический дилетантизм отравляет всю литературную деятельность Гейне и постоянно мешает ему сосредоточить свои силы на каком бы то ни было предмете. Гейне не может ни подчиниться политической тенденции, ни отделяться от неё. Гейне решительно не знает, в каких отношениях находятся к политике все другие отрасли человеческой деятельности — наука, искусство, промышленность, религия, семейная жизнь, умозрительная философия и т. д. Но Гейне понимает, что какие-нибудь отношения должны существовать между всеми этими отраслями и что так или иначе все эти отрасли могут ускорять или замедлять движение человечества к лучшему будущему. Предчувствуя существование какой-то общей связи между различными отраслями человеческой деятельности, сознавая необходимость общего взгляда на всю совокупность этих различных отраслей и в то же время не умея отыскать тот высший принцип, во имя которого можно было бы обсуживать и сортировать эти отрасли по их действительному внутреннему достоинству, Гейне находится в хроническом недоумении и постоянно колеблется между тенденциозными суждениями недоразвившегося прогрессиста и непосредственными ощущениями простодушного эстетика. Эти колебания замаскированы от глаз легкомысленных читателей удивительным блеском внешней формы, неистощимым богатством картин, прелестью тонкого юмора и неожиданной силой отдельных сарказмов. Но если вы, закрывши книгу, попробуете отдать себе отчёт в содержании прочитанных страниц, если вы захотите узнать, в чём убедил и в чём хотел убедить вас автор, то на все эти вопросы вы не найдёте у себя в голове ни одного определённого ответа.

ничего, кроме какого-то приятного хаоса удачных шуток и грациозных сравнений, под которыми скрываются неясные мысли, общие места или внутренние противоречия.

Так, например, если вы захотите узнать от Гейне, как он понимает отношения искусства к жизни, то вы не узнаете ровно ничего или, вернее, вы узнаете сегодня одно, завтра совсем другое, послезавтра ни то, ни сё. Может случиться и так, что вы в один день получите три разнохарактерные ответа, которых несовместность поэт не заметил или не хочет заметить, считая её, по всей вероятности, неизбежным атрибутом поэтической разорванности. В одной из предыдущих глав мы видели, что Гейне понимает поэзию как *священную игрушку* или как *священное средство для необходимых целей*. Как ни сбивчиво это определение, однако же из него всё-таки можно заключить, что поэзия, по мнению Гейне, должна подчиняться каким-то высшим соображениям. Цель важнее средства, и средство всегда должно приоровляться к цели; в противном случае средство перестаёт быть средством и превращается в самостоятельную цель. Стало быть, если Гейне признаёт существование *небесных целей*, предписанных для поэзии и лежащих за её собственными пределами, то он обязывает поэзию видоизменяться с образом с теми условиями, при которых *небесные цели* могут быть достигнуты. При таком взгляде самою лучшою оказывается та поэзия, которая всего больше облегчает достижение *небесных целей*. Если *небесные цели* могут быть достигнуты без содействия поэзии, то поэзия должна скромно и покорно согласиться на самоуничтожение. Иначе получится вопиющая нелепость: священная игрушка заставит людей забыть о *небесных целях*, и храбрые солдаты превратятся в легкомысленных школьников. Признавая существование *небесных целей* и называя себя храбрым солдатом, Гейне, повидимому, никак не может желать подобного результата. А между тем он его желает. По крайней мере он горько плачет на тех людей, для которых поэзия не имеет самостоятельного значения и которые, стремясь к *небесным целям*, не хотят развлекаться *священными игрушками*.

«Ах, — говорит Гейне в своей книжке *«О Людвиге Берне»*, — пройдёт много времени, прежде чем мы отыщем великое целебное средство; до тех пор придётся нам сильно хворать и употреблять всевозможные мази и домашние средства, которые будут только усиливать болезнь. Тут прежде всего приходят радикалы, прописывающие радикальное лечение, которое, однако, действует только наружным образом, потому что разве только уничтожает общественную

коросту, но не внутреннюю гниль. А если им и удаётся на короткое время избавить человечество от страшнейших мук, то это делается в ущерб последним следам красоты, до тех пор остававшимся у больного; гадкий, как вылечившийся филистёр, встанет он с постели, и в отвратительном госпитальном платье, в пепельно-сером костюме равенства, станет жить со дня на день. Вся безмятежность, вся сладость, всё благоухание, вся поэзия будут вычеркнуты из жизни, и от всего этого останется только румфордов суп полезности¹⁶⁷. Красота и гений не находят себе никакого места в общественной жизни наших новых пуритан и подвергаются таким оскорблением и угнетениям, каких они не испытывали даже при существовании старого порядка... Потому что красота и гений не могут жить в обществе, где каждый, с неудовольствием сознавая свою посредственность, старается унизить всякое высшее дарование и свести его к самому пошлому уровню. Сухое, будничное настроение новых пуритан распространяется уже по всей Европе, точно серые сумерки, предшествующие суровому зимнему времени» (т. VI, стр. 328).

Читателю русских журналов достаточно знакомы эти старушечьи вопли против сухости новых пуритан и против румфордова супа полезности. Гейне, к стыду своему, подаёт здесь руку Николаю Соловьёву¹⁶⁸ и т. п. Гейне унижается даже до того бессмысленного предположения, что новые пуритане говорят и действуют под влиянием личной зависти. Все они, изволите видеть, маленькие барабанщики, желающие ободрать и испортить галуны с блестящих мундиров больших тамбур-мажоров. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюся в голове какой-нибудь старой сплетницы и повторявшуюся всеми врагами народа и здравого смысла, можно опрокинуть простым указанием на тот факт, что новые пуритане глубоко уважают тех людей, которые лучше других варят румфордов суп полезности или выдумывают для этого супа усовершенствованный способ приготовления.

Новые пуритане охотно признают превосходство этих людей, сознательно подчиняются их влиянию и, предоставив им видные роли вождей и распорядителей, добровольно берут себе скромные обязанности учеников, последователей, исполнителей, переводчиков или компиляторов и комментаторов. Новые пуритане, без сомнения, очень уважают науку. У новых пуритан, конечно, есть также свои социальные понятия, которыми они дорожат очень сильно. Но как в реальной науке, так и в области социальных понятий работали и работают до сих пор гении первой величины и множество та-

лантов крупных и мелких. И новые пуритане вовсе не отрицают гениальности первоклассных деятелей и даровитости второстепенных работников. Значит пуритане восстают вовсе не против *всякого высшего дарования* вообще, а только против непроизводительной затраты всяких дарований, высших, средних и низших. *Пепельно-серый костюм равенства*, на который так умилительно жалуется любитель трёхцветного знамени Гейне, надевается на людей совсем не для того, чтобы умные и глупые люди пользовались одинаковым влиянием на общественные дела. Это вещь невозможная. И об этом могли мечтать люди XVIII века только потому, что они придерживались той теории, которая признавала все интеллектуальные различия между людьми—продуктами различных впечатлений, воспринятых после рождения. Но так как в наше время уже достаточно известна та физиологическая истинна, что люди приносят с собою на свет вместе с особым телосложением особую организацию мозга и нервной системы, полученную по наследству от родителей и не изменяющуюся в своих существенных чертах ни от каких позднейших впечатлений, то новые пуритане нашего времени вовсе и не мечтают об абсолютном равенстве. Смысл того стремления, которое Гейне называет *пепельно-серым костюмом*, состоит только в том, что тысячи не должны ходить босиком и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрели на хорошие картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошие стихи. Кто находит подобное стремление предосудительным, тот желает, чтобы хлеб, необходимый для пропитания голодных людей, превращался ежегодно в изящные предметы, доставляющие немногим избранным и посвящённым тонкие и высокие наслаждения. Здесь Гейне стоит, очевидно, на стороне эксплоататоров и филистёров, но он не всегда рассуждает таким образом.

«Это свойство,—говорит Гейне в «Романтической школе»,— эту целостность мы встречаем и у писателей нынешней «Молодой Германии»¹⁶⁹, которые также не допускают различия между жизнью и литературною деятельностью, не отделяют политики от науки, искусства от религии и в одно и то же время являются художниками, трибунами и проповедниками правды. Да, я повторяю слово *проповедники*, потому что не могу найти более характеристического слова. Новые убеждения наполняют душу этих людей такою страстью, о какой писатели прежнего периода не имели и понятия. Это убеждения в силе прогресса, убеждения, вышедшие из науки. Мы делали измерение земель, исследовали силы

природы, высчитывали средства промышленности и вот, наконец, нашли, что эта земля достаточно велика, что она даёт каждому достаточно места для того, чтобы построить себе на нём хижину своего счастья, что эта земля может прилично питать всех нас, если мы все хотим работать и не жить на счёт другого, что, наконец, нам нет никакой надобности отсылать более многочисленный и более бедный класс к небу. Число этих знающих и верующих, конечно, *ещё весьма невелико*» (т. V, стр. 339).

Здесь *пепельно-серый костюм равенства* представляется в самом привлекательном виде, а *новые пуритане*, которые выше были заподозрены в мелкой зависти, оказываются художниками, трибунами и проповедниками правды, людьми страстно убеждёнными, людьми целостными, людьми знающими и верующими. Нет ни малейшей возможности пройти какую-нибудь границу между писателями «Молодой Германии», к которым Гейне относится с величайшим сочувствием, и теми радикалами, которых тот же Гейне с комическим негодованием обвиняет в исключительном пристрастии к румфордову супу полезности. Гейне называет писателей «Молодой Германии» художниками, но ведь это художество проникнуто насквозь трибунскими стремлениями и проповедыванием правды. Это художество стремится доказать образами, что каждый при соблюдении известных условий может построить себе на земле хижину своего счастья. Это художество выводит на свежую воду те глупости и подлости, вследствие которых земля кажется тесною и люди принуждены строить себе хижины горя и бедности, или жить в качестве батраков в чужих чуланах, конюшнях или закутках. Стало быть, это художество приурочено к румфордову супу полезности и составляет одну из самых важных и питательных его приправ. Стало быть, между румфордовым супом и художеством вовсе не существует радикального и необходимого антагонизма, хотя, с другой стороны, не подлежит сомнению, что в жизни людей, построивших себе собственным трудом хижины своего счастья, художество не может иметь того преобладающего значения, которое принадлежит ему теперь в жизни людей, построивших себе чужим трудом великолепные замки или виллы. Наука, конечно, доказывает, что все мы можем построить себе тёплые и сухие хижины, вмещающие в себе достаточное количество чистого воздуха, но наука до сих пор не думала доказывать, что все мы можем увешать стены наших хижин превосходными картинами, поставить в каждой хижине по одному великолепному роялю, держать при каждой

сотне хижин труппу хороших актёров и тратить каждый день по несколько часов на сочинение и чтение звучных лирических стихов. Счастье, доступное для всех, должно быть, по крайней мере на первых порах, гораздо проще и скромнее того счастья, которое в настоящее время доступно немногим. Величайшая прелесть общедоступного счастья состоит не в разнообразии и яркости наслаждений, а преимущественно в том, что у этих наслаждений нет обратной стороны, т. е. что эти наслаждения не покупаются ценой чужих страданий.

Внутреннее противоречие, в которое впадает Гейне, очевидно и безвыходно. Он восхищается в одном месте теми идеями и стремлениями, против которых вооружается в другом. Он бросается с одной точки зрения на другую и ни на одной из них не может остановиться. Когда художник поёт, как соловей, безо всякой тенденции, тогда Гейне находит в его произведениях запах свежего сена. Когда художник становится на всю жизнь под знамя одной, строго определённой идеи, тогда Гейне кричит, что мир затоплен волнами румфордова супа. И в то же время тот же Гейне, смотря по минутному настроению, хвалит соловьёв, подобных Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистов, подобных Лаубе и Гуцкову¹⁷⁰. Словом, перед глазами читателя проходит целая радуга всех возможных мнений об искусстве, и читатель к ужасу своему замечает, что вся эта радуга выходит из головы одного человека.

В выписанном мною отрывке о писателях «Молодой Германии» я должен обратить внимание читателя на то место, где Гейне говорит о *целостности* новых людей; этими словами сам Гейне подтверждает моё мнение о том, что и в настоящее время, при совершенной разорванности окружающего мира, возможна в писателе внутренняя целостность, выходящая не из тупого равнодушия, а из страстного вождевления. Эта страстная целостность, характеризующая представителей «Молодой Германии», проводит резкую границу между этими писателями, выступившими на литературное поприще в начале 30-х годов, и самим Гейне, у которого никогда и ни в чём не было никакой целостности.

IX

При своём неизлечимом политическом дилетантизме, которого не искоренило даже умственное движение «Молодой Германии», Гейне никогда не мог подвергать правильной и точной оценке ни события современной истории, ни явления современной литературы. У Гейне не было никакого твёр-

дого принципа, на котором бы он мог построить свою критику. А между тем он любил прогуливаться с критическими намерениями и ухватками по различным областям настоящего и ближайшего прошедшего. Он любил рассуждать глубокомысленно и проницательно о политике и литературе. Он написал целую, довольно большую книгу «О Германии», и написал по-французски, собственно для того, чтобы познакомить французов с великими и плодотворными тайнами немецкой философии и немецкой поэзии. Не знаю, насколько эта книга просветила французских читателей, но знаю очень хорошо, по собственному горькому опыту, что русскому читателю эта книга не даёт ровно ничего, кроме того неопределённо приятного ощущения, которое возбуждается каждой страницей Гейне, написанной очаровательным языком и всегда переполненной самыми яркими и прелестными образами. Общей мысли в этой книге нет ровно никакой, а есть в ней только хорошо рассказанные анекдоты, забавные параллели между французами и немцами, да попадаются иногда такие дикие историко-философские соображения и пророчества, что читатель не может разобрать, шутит ли автор или говорит серьёзно; и если автор шутит, то читателю становится досадно, с какой стати шутка тянетя так долго и до такой степени лишена игривости, забавности и язвительности; а если автор мудрствует серьёзно, то читателю становится положительно совестно за автора.

По глубокомысленным соображениям Гейне оказывается, например, что различные фазы немецкой философии в точности соответствуют различным фазам французской революции. Умеренный и аккуратный Кант изображает собою террор Конвента¹⁷¹ и, по мнению Гейне, оказывается гораздо смелее и неумолимее Робеспьера. Фихте исправляет должность Наполеона, а Шеллинг играет роль Реставрации. Эти ребяческие сближения до такой степени забавляют Гейне и наполняют его сердце такой святой патриотической гордостью, что он несколько раз с видимым удовольствием возвращается к этой приятной и затейливой выдумке. В конце своего сочинения о немецкой философии он до такой степени воодушевляется, что пророчествует миру о великих и ужасных событиях, которые вырастут со временем из философских сочинений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благополучно похороненных и забытых ближайшим потомством. «Если, — говорит Гейне, рассуждая об ужасах будущей немецкой революции, имеющей вырасти из умозрительной философии, — рука кантиста бьёт сильно и метко, потому что сердце его, не волнуется никаким переходящим по

преданию уважением, если фихтеанец смело презирает всякие опасности, потому что они в действительности для него не существуют, то натур-философ ужасен, потому что вступает в союз с первородными силами природы, может вызвать все силы древне-германского пантеизма и тогда получает ту жажду борьбы, которую мы встречаем у древних германцев, сражающихся не для разрушения, не для победы, но только для того, чтобы сражаться» (т. V, стр. 165). Немецкая гроза, воспитанная Кантом, Фихте и Шеллингом, будет, по соображениям Гейне, необыкновенно ужасна. «При этом грохоте, — говорит он, — орлы падут мёртвые с воздушных высот и львы в самых далёких пустынях Африки опустят хвосты и спрячутся в свои вертепы» (т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими красками и громкими словами была бы смешна до последней степени, если бы тут не видно было, что несчастному поэту больно и стыдно смотреть на тупое усыпление отечества и что он старается оглушить и отуманить себя громом несбыточных и неправдоподобных предсказаний. Хотя читатель и понимает до некоторой степени то настроение, которое породило эти хвастливые рулады, однако, во всяком случае, восторженные фразы Гейне о мировом значении немецкой философии оказываются для нашего времени неудачной шуткой или бессмысленным набором слов. Так же ничтожны и бесполезны для читателей разные отрывочные заметки и рассуждения о Тике, Шлегелях, Новалисе¹⁷², Арниме и других забытых писателях, о которых распространяется Гейне в своей «Романтической школе». Но здесь, как и везде, Гейне роняет по временам превосходные сарказмы, которые почти достаточно вознаграждают читателя за отсутствие общей мысли и за совершенную мертвенностъю самого сюжета.

О политических деятелях, как и обо всех остальных предметах, Гейне судит с плеча, по свободному вдохновению, рассыпая совершенно произвольно в разные стороны лавровые венки и дурацкие колпаки. Так как в новейшей истории очень много мизерного, то дурацкие колпаки почти всегда попадают без промаха туда, где им следует находиться. Зато лавровые венки по тем же самым причинам почти всегда залетают туда, где присутствие их решительно ничем не может быть оправдано.

Особенно замечательно то несчастное упорство, с которым Гейне увенчивал Наполеона, одного из самых вредных людей во всей истории человечества. Обожание Наполеона было для Гейне любимым коньком, с которого он не слезал до конца своей жизни. Этот конёк был отчасти боевой

лошадью, при содействии которой Гейне дразнил и огорчал, с одной стороны, немецких радикалов, последователей Берне, с другой — юродствующих патриотов, подобных Менцелю и Масману¹⁷³. Первые ненавидели Наполеона как представителя деспотизма и солдатчины. Вторые не могли простить Наполеону того, что он осмелился многократно разбивать немецкие армии, вступать с войском в немецкие столицы и держать у себя в передней немецких отцов отечества, которых предшественник, Арминий¹⁷⁴, одержал такую блестательную победу над римским полководцем Варом. Гейне, с своей стороны, не любил радикалов за их серьёзность и презирал тевтоманов за их действительную и поразительную тупость. В гику обеим партиям он падал на колени перед великим и божественным императором при каждом удобном и неудобном случае. Эти коленопреклонения были также направлены в очень значительной степени против тех официальных политиков, которые, победивши Наполеона, распоряжались судьбою Европы в первой четверти нынешнего столетия.

Нерасположение Гейне к этим политикам — к Меттерничу, к Веллингтону, к Кестльри — очень понятно и совершенно основательно. Но как бы ни были вредны и отвратительны эти победители Наполеона, из этого, однако, нисколько не следует, чтобы сам Наполеон был очень полезен и прекрасен. Если благоговение Гейне перед Наполеоном имело исключительно значение протesta, то нельзя не заметить, что для протesta выбрана очень неудобная форма, по милости которой Гейне принуждён был написать десятки страниц волюнтаристской бессмыслицы. Если же это благоговение было чисто-сердечно, то я должен признаться, что процесс мышления, совершающийся в голове великих художников, заключает в себе тайны, непостижимые для простых людей. Всего мудренее и любопытнее та штука, что Гейне, пророчествуя людям о том, что Наполеон сделается божеством новой религии, в то же время видит очень ясно и показывает своим читателям с полной откровенностью пятна «обожаемого кумира». «Пожалуйста, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — не считай меня безусловным бонапартистом, любезный читатель. Я благоговею не перед действиями, а перед гением этого человека. Безусловно люблю я его только до 18 брюмера¹⁷⁵. Тут изменил он свободе. И не по необходимости сделал он это, а из тайной склонности к аристократизму. Наполеон Бонапарт был аристократом, аристократическим врагом гражданского равенства, и мне кажется колоссальным недоразумением,

что европейская аристократия в лице Англии с таким ожесточением боролась с ним... Любезный читатель, объяснимся однажды навсегда: я никогда не превозношу дел и хвалю лишь гений человека; дело—только его одежда, и история—не что иное, как старый гардероб человеческого гения» (т. II, стр. 111).

Решительное объяснение с любезным читателем ни к чему не ведёт и заключает в себе очень мало осязательного смысла. Ставяясь отделить гений человека от его дел, Гейне желает открыть самый широкий простор эстетическому произволу. Полезны ли, вредны ли дела человека, это, по мнению Гейне, всё равно: это мелкие подробности старого гардероба; надо только, чтобы в исполнении этих вредных или полезных дел проявлялась некоторая виртуозность, некоторая фешенебельная грация и связность. Эти качества, от которых окружающим людям ни тепло, ни холодно, составляют, по мнению Гейне, настоящую квинтэссенцию человека и требуют себе нашего благоговения. Политическому деятелю предписывается, таким образом, быть эффектным, интересным и привлекательным. При соблюдении этих условий ему отпускаются все его глупости и низости, промахи и преступления. И чем громаднее его ошибки, тем лучше для него, потому что тем поразительнее становится его эффектность. С эстетической точки зрения огромная гадость заслуживает гораздо большего уважения, чем маленькое доброе дело. Но при таком отделении *гения от дел* совершенно искажается настоящее значение слова *гений*. Этим словом перестаёт обозначаться то умственное превосходство, перед которым преклоняются с восторженной любовью все мыслящие люди. И после такого превращения *гений* сохраняет свою обаятельность только для слабоумных любителей театральной грандиозности. Гейне об этом не подумал. Иначе он понял бы, что с гения нет возможности снимать ответственность за направление и результаты дел. Гений сам задаёт себе работу. Следовательно, мы имеем полное право требовать от него отчёта не только в том, искусно ли и удачно ли выполнена работа, но ещё и в том, почему и зачем, с какою целью и на основании каких предварительных соображений он, гений, принял именно за эту работу, а не за другую. Данный исторический деятель только тогда и может быть признан гением, когда его дела и вся его жизнь дают совершенно удовлетворительные ответы на все вопросы, которые могут быть поставлены мыслящим историком. Выступая на арену борьбы и серьёзной деятельности, человек бросает общий взгляд на положение партий, вдумывается в потребности и в понятия своих современников,

задаёт себе вопрос о том, куда идёт главный поток идей и событий, словом, ориентируется в лесу быстро сменяющихся явлений и затем, вооружившись своими наблюдениями, присоединяется более или менее сознательно к какой-нибудь одной группе бойцов или работников. Если собранные наблюдения неточны и сделанный выбор неудовлетворителен, молодой деятель переходит к другой партии или старается сообщить новое направление мыслям и работам своих союзников. Становясь под то или другое знамя, изменяя своим влиянием так или иначе характер своей партии, человек набрасывает в общих чертах весь план своей будущей деятельности. Достоинства или недостатки этого плана дадут себя знать впоследствии и во всяком случае одержат перевес над достоинствами или недостатками выполнения. Если план был составлен разумно, если при его составлении настоящие потребности времени были поняты верно, то вся деятельность будет плодотворна и благодетельна, хоть бы даже в выполнении было много отдельных ошибок и шероховатостей. Если же при составлении плана потребности времени были поняты навыворот, то вся деятельность будет тем более бессмысленна и вредна, чём больше остроумия будет потрачено на потребности выполнения. Но если план составлен неверно, если всей деятельности дано ложное направление, что же это значит? Значит, очевидно, что у составителя недостало проницательности, сообразительности и глубокомыслия. Значит в гениальности составителя имеется такой крупный изъян, который портит всё дело и превращает неудавшегося гения в опасного и вредного сумасброда.

Гейне говорит, что Наполеон изменил свободе и был аристократическим врагом гражданского равенства. Говоря это, Гейне думает, что это обстоятельство не наносит никакого ущерба гениальности Наполеона, точно будто это обстоятельство нисколько не зависело от процесса его мышления, точно будто измена и аристократизм составляют прирождённые качества Наполеона, подобные цвету его глаз и волос. Изменил свободе и сделался аристократом. Где же у него было соображение, куда девалась его прославленная гениальность в то время, когда он решился идти наперекор таким стремлениям, которые, выходя из самых глубоких потребностей человеческой природы, доросли уже до своей окончательной зрелости? Если он решился на борьбу с этими стремлениями, значит он надеялся победить. А если он надеялся победить и упрочить результаты своей победы, значит он не знал людей, не понимал ни прошедшего, ни настоящего и не составлял себе никакого приблизительно верного понятия о ближайшем

будущем. Если же, с другой стороны, он говорил: *après moi — le déluge** и хотел победить только для того, чтобы весело прожить на свете, то, стало быть, у него не было даже того величественного размаха мысли, который побуждает всех истинных гениев строить для далёкого будущего. При всём том он, конечно, был, если хотите, гениальным полководцем и за это может быть поставлен наряду с каким-нибудь Мальборо¹⁷⁶, перед которым Гейне ни за что не согласился бы падать на колени. Эта частичная гениальность или, вернее, эта виртуозность в каком-нибудь одном деле, это умение быть превосходным орудием какой угодно партии не имеет ничего общего с тем светлым умственным величием, которое характеризует настоящих благодетелей нашей породы, людей, способных угадывать наши потребности и создавать средства для их удовлетворения. Не всякий способен сделаться отличным полководцем, так точно как не всякий способен сделаться отличным танцором или отличным знатоком красных вин; но из этого ещё не следует, чтобы каждый отличный полководец имел право на то благовение, с которым мы относились к гению, согревшему и украсившему нашу жизнь своими трудами.

Гейне сам знает очень хорошо настоящую цену всякой славы.

«Смешно было бы, — говорит он, — поставить статую Лафайету на Вандомскую колонну¹⁷⁷, выплавленную из пушек, отбитых в стольких сражениях, на эту колонну, вида которой не может вынести ни одна французская мать, как поёт Барбье¹⁷⁸. На этой железной колонне поставьте Наполеона, железного человека. Пусть ему и здесь, как в жизни, служит подножием его пушечная слава; пусть он в ужасающем одиночестве касается челом облаков, чтобы каждый честолюбивый солдат, увидав его там, вверху, недостижимо, мог исцелиться от суетной жажды славы, и чтобы эта колоссальная металлическая статуя служила для Европы громоотводом против завоевательного героизма, орудием мира. Лафайет воздвиг себе колонну лучше Вандомской, статую лучше металлической или мраморной» (т. VII, стр. 46).

Итак, Лафайет выше Наполеона; военная слава объявлена суетною, и Вандомская колонна должна служить честолюбивым солдатам тем наглядным предостережением, которым, по соображениям мудрых криминалистов, виселица служит похитителям собственности. Стало быть, памятник, поставленный Наполеону, изображает собою не уважение потом-

* После меня — хоть потоп. — Ред.

ков к его гениальности, а только то чувство ужаса, вследствие которого люди стараются увековечить воспоминание о каком-нибудь громадном национальном бедствии вроде наводнения, пожара, землетрясения или чумы.

Гейне понимает также, каким образом наполеоновская система действовала на французское общество.

«Люди среднего возраста, — говорит он, — утомлены раздражающей оппозицией, выпавшей на их долю в период Реставрации, или развращены Империей, которая своей блестящей солдатчиной и своей шумной славой умерщвляла всякую любовь к свободе» (т. VII, стр. 60).

Наконец, Гейне договаривается до самого наивного и неожиданного признания.

«Правда, — говорит он, — что умерший Наполеон больше любил французами, чем живущий Лафайет, может быть именно потому, что он умер. Мне по крайней мере это всего больше нравится в Наполеоне, потому что, будь он в живых, мне пришлось бы итти воевать против него» (т. VII, стр. 47).

Это признание нисколько не мешает Гейне обожать Наполеона попрежнему. Пользуясь правами поэта, Гейне презирает последовательность и перелетает с удивительною развязностью от самой злой насмешки к самому восторженному панегирику. Тот человек, который развратил Францию блестящей солдатчиной и систематически старался умертвить в своих современниках всякую гражданскую доблесть, тот человек, которого лучший подвиг состоит в том, что он умер, тот человек, которого надо поставить на колонну для вечного устрашения честолюбивых солдат, оказывается вдруг божеством от головы до ног (т. III, стр. 99), божеством, которого имя сделалось лозунгом для народов (т. III, стр. 100), так что «Восток и Запад, встречаясь между собою, понимают друг друга только посредством этого имени» (там же). В подтверждение той мысли, что имя Наполеона действительно может служить умственную связью между Востоком и Западом, Гейне рассказывает следующий случай. В лондонскую гавань вошёл корабль, прибывший из Бенгалии. Гейне посетил этот корабль, почувствовал особенное влечение к его пассажирам и захотел сказать им какое-нибудь приветствие. Не зная их языка, Гейне, чтобы выразить им своё сочувствие, произнёс очень почтительно имя «Магомет». Индийцы, желая ответить на его любезность, произнесли имя «Бонапарте». На этом и остановился разговор, так что обмен мыслей между Востоком и Западом оказался не очень значительным, несмотря на существование чудотворного имени, «сделавшегося лозунгом для народов».

Довольно трудно сообразить, для какой цели рассказан этот случай и какое из него можно вывести заключение. Что индийцы знают о существовании Наполеона? Прекрасно. Но что же из этого следует? Этю честью пользовались в своё время Атилла, Чингисхан, Тамерлан, Надир-шах¹⁷⁹, словом, все разбойники, занимавшиеся своим ремеслом в обширных размерах. Имена этих людей всегда были гораздо более известны, чем имена великих исследователей и изобретателей. Эти имена поражали народное воображение и делались лозунгом для народов, но эти имена всегда облегчали международные сношения точно настолько же, насколько имя Наполеона помогло индийцам разговаривать с Гейне. Всё это очень хорошо известно и самому Гейне, но ему как разорванному поэту нет никакого дела до самых элементарных требований здравого смысла, если только эти требования мешают ему в данную минуту уронить с пера эффектный эпитет, блестящую метафору или грациозную картинку.

Гейне излагает очень обстоятельно те причины, которые побуждают его считать Наполеона богом. Причины эти заключаются в том, что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, — говорит Гейне, — твёрдый, смелый взгляд есть отличительный признак богов. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра¹⁸⁰ приняли образ Наля на свадьбе Дамаянти¹⁸¹, последняя узнала своего возлюбленного по движению его зрачков, ибо, как сказано, глаза у богов всегда неподвижны. У Наполеона также глаза имели это свойство, а потому я и убеждён, что он тоже был из богов» (т. V, стр. 243).

Что вы скажете об этом пассаже? Вы скажете, по всей вероятности, что это шутка. Но я с вами не соглашусь и скажу вам, что это просто бессмыслица, которую сам поэт тоже считает за бессмыслицу и которую он, тем не менее, выбрасывает из себя на бумагу, потому что находит её оригинальною и грациозною. И это самодовольное выбрасывание бессмыслиц совершается у Гейне до такой степени часто, что читатель, наконец, теряет возможность определить, где кончается серьёзное размышление и где начинается сознательное и умышленное юродство, желающее изображать собою грацию. Гейне положительно думает, что поэт имеет право производить на свет такие сочетания понятий, которые никогда и ни при каких условиях не могут залезть ни в какую человеческую голову. Он часто пишет то, чего он никогда не мог думать и чего вообще не может подумать ни одно мыслящее существо.

МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ

I

В нашей умственной жизни резко выделяется от остальной массы то направление, в котором заключается наша действительная сила и на которое со всех сторон сыпятся самые ожесточённые и самые смешные нападения. Это направление поддерживается очень малочисленною группою людей, на которую, однако, несмотря на ее малочисленность, всё молодое смотрит с полным сочувствием, а всё дряхлеющее — с самым комическим недоверием. Эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми деятелями; влияние этой группы на свежую часть общества уже теперь перевешивает собою все усилия публицистов, учёных и других литераторов, подверженных в большей или меньшей степени острым или хроническим страданиям светобоязни; в очень близком будущем общественное мнение будет совершенно на стороне этих людей, которых остальные двигатели русского прогресса постоянно стараются очернить разными обвинениями и заклеймить разными ругательными именами. Их обвиняли в невежестве, в деспотизме мысли, в глумлении над наукой, в желании взорвать на воздух всё русское общество вместе с русскою почвою; их называли свистунами, нигилистами, мальчишками; для них придумано слово «свистопляска», они причислены к «литературному казачеству», и им же приписаны сооружение «бомбы отрицания» и «калмыцкие набеги на науку». Об них постоянно болеют душою все медоточивые деятели петербургской и московской прессы; их то распекают, то упрашивают, то подымают на смех, то отрекаются от них, то увещевают; но ко всем этим изъявлениям участия они остаются глубоко равнодушны. Худы ли, хороши ли их убеждения, но они у них есть, и они ими дорожат; когда можно, они проводят их в общество; когда нельзя — они молчат; но лавировать и менять флаги они не хотят, да и не

умеют. Доля их кажется большинству незавидной, но они не могли бы по натуре своей переменить её. Из них вышли люди, которым досталась слава геройских страданий, неутомимой, ненасытной ненависти. Другим встречались лишь тысячи мелких врагов, и в борьбе с препятствиями недостойными, презираемыми проходила их деятельность, которая видела вдали для себя более широкое поприще и была достойна его. Это тяжело, но им много помогает переносить все невзгоды то обстоятельство, что они уверены в себе и любят живою, сознательно любовью свои идеалы. Их не удивляют и тем более не раздражают комедии с переодеваниями, разыгрываемые нашими публицистами; в глубину отечественной учёности они не верят; красотою отечественной беллетристики не восхищаются; к одним проявлениям нашей умственной жизни они равнодушны; к другим относятся с самым спокойным, глубоко сознательным и совершенно беспощадным презрением. Да и может ли быть иначе, когда в литературе, как и в обществе, целая пропасть отделяет их от официозных и патентованных наставников массы? В литературе они стоят совершенно в стороне от остальной толпы и не чувствуют ни надобности, ни желания приблизиться к ней или сойтись с её искусственными представителями на чём бы то ни было. В обществе они не боятся своего нынешнего одиночества. Они знают, что истина с ними, они знают, что им следует покойною и твёрдою поступью ити вперёд по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдут все. Эти люди фанатики, но их фанатизирует трезвая мысль, и их увлекает в неизвестную даль будущего очень определённое и земное стремление доставить всем людям вообще возможно большую долю простого житейского счастья. ✓

По мнению Молчалиных и Полониев журналистики и общества, это очень глупые и дурные люди, и к наиболее глупым и дурным из этих отверженных людей давно уже единогласно причислен ими автор романа «Что делать?» Но из всего написанного им всего хуже и всего глупее объявлен именно этот роман.

Дружный ропот негодования пронёсся во всей нашей журналистике, когда роман этот увидел свет. Заговорило всё, что могло говорить, а на противоположной стороне господствовало полное и глубокое молчание. Когда, наконец, через год молчание это нарушилось, «вольные» критики и публицисты могли сказать, что полку их прибыло. Целый год исходилося их остроумие по поводу алюминиевых колонн, нейтральной комнаты, вечных песен Белой Арапии и проч. Наконец, истощившись в последнем усилии главы российских

казённокоштных сатириков, оно смолило окончательно, как будто роман погребён навеки соединёнными усилиями вольных писателей.

И действительно немудрено, что таков был общий голос всех критиков от «Развлечения»¹⁸² до «Современника»¹⁸³. Никогда ещё то направление, о котором я упомянул вначале, не заявляло себя на русской почве так решительно и прямо, никогда ещё не представлялось оно взорам всех ненавидящих и клянущих его так рельефно, так наглядно и ясно. Поэтому всех, кого кормит и греет рутина, роман г. Чернышевского приводит в неописанную ярость. Они видят в нём и глумление над искусством, и неуважение к публике, и безнравственность, и цинизм, и, пожалуй, даже зародыши всяких преступлений. И, конечно, они правы: роман глумится над их эстетикой, разрушает их нравственность, показывает лживость их целомудрия, не скрывает своего презрения к своим судьям. Но всё это не составляет и сотой доли прегрешений романа; главное в том, что он мог сделаться знаменем ненавистного им направления, указать ему ближайшие цели и вокруг них и для них собрать всё живое и молодое.

С своей точки зрения наставники наши были правы; но я слишком уважаю своих читателей и слишком уважаю самого себя, чтобы доказывать им, как бесконечно позорно для них это обстоятельство и как глубоко уронил их роман «Что делать?» тою ненавистью и яростью, которые поднялись против него. Читатели мои, разумеется, очень хорошо понимают, что в романе этом нет ничего ужасного. В нём, напротив того, чувствуется везде присутствие самой горячей любви к человеку; в нём собраны и псдвергнуты анализу пробивающиеся проблески новых и лучших стремлений; в нём автор смотрит вдаль с тою сознательною полнотою страстной надежды, которой нет у наших публицистов, романистов и всех прочих, как они ещё там называются, наставников общества. Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное. Достоинства и недостатки этого романа принадлежат ему одному: на остальные русские романы он похож только внешнею своею формою: он похож на них тем, что сюжет его очень прост и что в нём мало действующих лиц. На этом и оканчивается всякое сходство. Роман «Что делать?» не принадлежит к числу сырых продуктов нашей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нём лежит печать глубокой мысли. Умев вглядываться в явления жизни, автор умеет обобщать

и осмысливать их. Его неотразимая логика прямым путём ведёт его от отдельных явлений к высшим теоретическим комбинациям, которые приводят в отчаяние жалких рутинёров, не имеющих другого возражения, кроме бессмысленного слова «утопия».

Все симпатии автора лежат безусловно на стороне будущего; симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, которые замечаются уже в настоящем. Эти задатки зарыты до сих пор под грудою общественных обломков прошедшего, а к прошедшему автор, конечно, относится совершенно отрицательно. Как мыслитель он понимает и, следовательно, прощает все его уклонения от разумности, но как деятель, как защитник идеи, стремящейся войти в жизнь, он борется со всяkim безобразием и преследует иронией и сарказмом всё, что бременит землю и коптит небо.

II

В начале пятидесятых годов живёт в Петербурге мелкий чиновник Розальский. Жена этого чиновника, Марья Алексеевна, хочет выдать свою дочь, Веру Павловну, за богатого и глупого жениха, а Вера Павловна, напротив того, тайком от родителей выходит замуж за медицинского студента Лопухова, который, чтобы жениться, оставляет академию за несколько недель до окончания курса. Живут Лопуховы четыре года мирно и счастливо, но Вера Павловна влюбляется в друга своего мужа, медика Кирсанова, который также чувствует к ней сильную любовь. Чтобы не мешать их счастью, Лопухов официально застреливается, а на самом деле уезжает из России и проводит несколько лет в Америке. Потом он возвращается в Петербург под именем американского гражданина Чарльза Бьюомонта, женится на очень хорошей молодой девушке и сходится самым дружеским образом с Кирсановым и его женой, Верой Павловной, которые, конечно, давно знали настояще значение его самоубийства. Вот весь сюжет романа «Что делать?», и ничего не было бы в нём особенного, если бы не действовали в нём новые люди, те самые люди, которые кажутся проницательному читателю очень страшными, очень гнусными и очень безнравственными. «Проницательный читатель», над которым очень часто и очень сурово потешается г. Чернышевский, не имеет ничего общего с тем простым и бесхитростным читателем, которого любит и уважает каждый пишущий человек. Простой читатель берёт книгу в руки для того, чтобы приятно

проводи время, или для того, чтобы чему-нибудь научиться, а проницательный — для того, чтобы покуражиться над автором и произвести его идеям инспекторский смотр. Простой читатель, встретивший новую мысль, может не согласиться с нею, но может и согласиться. Проницательный читатель всякую новую идею считает за дурость, потому что эта идея не принадлежит ему и не входит в тот замкнутый круг воззрений, который, по его мнению, составляет единственное вместилище всякой истины. У простого читателя есть предрассудки самого скромного свойства, вроде того, например, что понедельник — тяжёлый день или что не следует тринадцати человекам садиться за стол. Эти предрассудки происходят от умственного неряшства; они не могут считаться неизлечимыми и большою частью не мешают простому читателю выслушивать без злобы мнения умных и развитых людей. Предрассудки проницательного читателя отличаются, на-против того, книжным характером и теоретическим направлением. Он всё знает, всё предугадывает, обо всём судит готовыми афоризмами и всех остальных людей считает глупее себя. Мысль его приступала себе известные дорожки и только по этим дорожкам и двигается. Паншин (в «Дворянском гнезде») и Курнатовский (в «Накануне») могут считаться превосходными представителями этого типа. В жизни действительной проницательные читатели всего чаще попадаются между теми людьми, для которых умственный труд составляет профессию. Всякая посредственность, пошедшая по этому пути, неминуемо превращается в проницательного читателя. Весь запас мыслей, сидевших в голове посредственности, очень быстро вытряхивается наружу, и тогда приходится повторяться, фразёровать, переливать из пустого в порожнее, глупеть от этого приятного занятия и вследствие всего этого проникаться глубочайшою ненавистью ко всему, что размышляет самостоительно. Большинство профессоров и журналистов всех наций принадлежат к скучнейшему разряду проницательных читателей. Все эти господа могли бы быть очень милыми, простыми и неглупыми людьми, но их изуродовало ремесло, точно так же, как ремесло уродует портных, сапожников, гравильщиков. Они натёрли себе на мозгу мозоли, и мозоли эти дают себя знать во всех суждениях и поступках проницательных читателей. Проницательный читатель скрежещет зубами, когда говорят о новых людях, а простому читателю скрежетать по этому случаю нет никакой надобности. Простой читатель улыбается добродушно улыбкой и говорит преспокойно: «Ну, посмотрим, посмотрим, какие это новые люди?» А вот и посмотри.

Над существованием новых людей прежде всех задумался и нашей беллетристике Тургенев. Инсаров был неудачною попыткою в этом направлении; Базаров явился очень ярким представителем нового типа; но у Тургенева, очевидно, нехватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон. Кроме того, Тургенев, по своим личным и по некоторым свойствам своего личного характера, не мог вполне сочувствовать новому типу; в его последний роман вкraлись фальшивые ноты, которые вызвали со стороны «Современника» строгую и несправедливую рецензию г. Антоновича¹⁸⁴. Эта рецензия была ошибкою, и лучшим её опровержением является роман г. Чернышевского, в котором все новые люди принадлежат к базаровскому типу, хотя все они обрисованы гораздо отчётливее и объяснены гораздо подробнее, чем обрисован и объяснён герой последнего тургеневского романа. Тургенев — чужой в отношении к людям нового типа; он мог наблюдать их только издали и отмечать только те стороны, которые обнаруживают эти люди, приходя в столкновение с людьми совершенно другого закала. Базаров является один в таком кругу, который вовсе не соответствует его умственным потребностям; Базарову некого любить и уважать, и потому всякому читателю, а «проницательному» в особенности, может показаться, что Базаров неспособен любить и уважать. Это последнее мнение составляет совершенную нелёпость; нет того человека, у которого не было бы способности и потребности любить и уважать подобных себе людей: ничто не даёт нам права думать, чтобы Тургенев захотел взвести на своего героя такую пустую небылицу; он просто не знал, как держат себя Базаровы с другими Базаровыми; не знал, как проявляются у таких людей чувства серьёзной любви и сознательного уважения; он чувствует небывалость этого типа и недоумевает перед ним, да так и останавливается на этом недоумении, всё-таки потому, что нехватает материалов. Если бы г. Чернышевскому пришлось изображать новых людей, поставленных в положение Базарова, то-есть окружённых всяким старьём и тряпьём, то его Лопухов, Кирсанов, Рахметов стали бы держать себя почти совершенно так, как держит себя Базаров. Но г. Чернышевскому нет никакой надобности поступать таким образом. Он знает не только то, как думают и рассуждают новые люди (это знает и Тургенев по журнальным статьям, писанным новыми людьми), но и то, как они чувствуют, как любят и уважают друг друга, как устраивают свою семейную и вседневную жизнь и как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, при которых можно

было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому. После этого не трудно понять, почему Тургенев принуждён был в своём Базарове остановиться на одной суповой стороне отрицания и почему, напротив того, под рукою г. Чернышевского новый тип вырос и выяснился до той определённости и красоты, до которой он возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова.

Новые люди считают труд абсолютно необходимым условием человеческой жизни, и этот взгляд на труд составляет чуть ли не самое существенное различие между старыми и новыми людьми. Повидимому, тут нет ничего особенного. Кто же отказывает труду в уважении? Кто же не признаёт его важности и необходимости? Лорд-канцлер Великобритании, сидящий на шерстяном мешке и получающий за это сидение по несколько десятков тысяч фунтов стерлингов в год, твёрдо убеждён в том, что он берёт плату за труд и что он с полным основанием может сказать фабричному работнику: *My dear* *, мы с тобою трудимся на пользу общества, а труд — святое дело. И лорд-канцлер это скажет, и граф Дерби это скажет, потому, что он тоже доставляет себе труд класть в карман поземельную ренту, а между тем какие же они новые люди? Они джентльмены очень старые и очень почтенные. Новые люди отдают полную справедливость тому и другому качеству, но сами никогда не согласятся уважать труд так, как уважают его лорд-канцлер и граф Дерби; сами они никогда не согласятся зарабатывать так много, сидя на шерстяном мешке или на бархатной скамейке палаты пэров. Сами они не хотят питать издали платоническую нежность к труду. Для них труд действительно необходим, более необходим, чем наслаждение; для них труд и наслаждение сливаются в одно общее понятие, называющееся удовлетворением потребностей организма. Им необходима пища для утоления голода, им необходим сон для восстановления сил, и им точно так же необходим труд для сохранения, подкрепления и развивания этих сил, заключающихся в мускулах и нервах. Без наслаждения они могут обходиться очень долго; без труда для них немыслима жизнь. Отказаться от труда они могут только в том случае, когда их разобьёт паралич, или когда их посадят в клетку, или вообще когда они тем или другим путём потеряют возможность распоряжаться своими силами. Размышляя часто и серьёзно о том, что делается кругом, новые люди с разных сторон и разными путями при-

* Мой дорогой. — Ред.

ходят к тому капитальному заключению, что всё зло, существующее в человеческих обществах, происходит от двух причин: от бедности и от праздности; а эти две причины берут своё начало из одного общего источника, который может быть назван хаотическим состоянием труда. Труд и вознаграждение находятся теперь между собою в обратном отношении: чем больше труда, тем меньше вознаграждения; чем меньше труда, тем больше вознаграждения. От этого на одном конце лестницы сидит праздность, а на другом бедность. И та и другая порождает свой ряд общественных зол. От праздности происходит умственная и физическая дряблость, стремление создавать себе искусственные интересы и увлекаться ими, потребность сильных ощущений, преувеличенная раздражительность воображения, разврат от нечего делать, поползновение помыкать другими людьми, мелкие и крупные столкновения в семейной и общественной жизни, бесконечные раздоры равных с равными, старших с младшими, младших со старшими, словом — весь бесконечный рой огорчений и страданий, которыми люди угошают друг друга без малейшей надобности и которых существование может быть объяснено только выразительно поговоркою: «с жиরу собаки бесятся». От бедности идут страдания материальные, и умственные, и нравственные, и какие угодно: тут и голод, и холод, и невежество, из которого хочется вырваться, и вынужденный разврат, против которого возмущается природа самых загрубелых созданий, и горькое пьянство, которого стыдится сам пьяница, и вся ватага уголовных преступлений, которых нельзя было не совершить преступнику. На середине лестницы произведения бедности встречаются с произведениями праздности; тут меньше дикости, чем внизу, и меньше дряблости, чем вверху, но больше грязи, чем где бы то ни было; тут приходится ёжиться, потому что хочется барствовать; приходится жилить пятаком у кухарки или дворника, потому что надо ехать на гулянье; держать детей в холодной детской, потому что надо меблировать гостиную; есть испорченную говядину, потому что надо сшить шёлковую мантилью. По всей лестнице сверху донизу господствует ненависть к труду и вечный антагонизм частных интересов. Немудрено, что труд производит при таких условиях мало продуктов; немудрено и то, что любовь к ближнему встречается только в назидательных книгах. Каждый рассуждает так или почти так: если, говорит, я прямо потяну с своего ближнего шубу, то меня за это не похвалят и посадят в полицию; но если я подведу под шубу кляузы и оттягаю её тихим манером, то мне будет двойная выгода: во-первых, не надо будет

вырабатывать себе шубу, во-вторых, всякий будет считать меня за умного и обходительного человека. Не всем, однако, такое положение дел нравится: находятся отдельные личности, которые говорят праздным людям: «Вам скучно потому, что вы ничего не делаете; а есть другие люди, которые страдают, потому что бедны. Подите разыскивайте этих людей, помогайте им, облегчайте их страдания, входите в их нужды, и вам будет не так скучно, и им не так тяжело жить на свете». Это говорят хорошие люди, но новые люди этим не удовлетворяются. Филантропия, говорят новые люди, такая же прекрасная вещь, как тюрьма и всякие уголовные и исправительные наказания. В настоящее время мудрено обойтись без того и другого, но настоящее время, подобно всем прошедшим временам, занимается только вечным заметанием и подчищанием тех гадостей, которые оно само вечно производит на свет. Когда гадость произведена, её, конечно, следует замести и подчистить, но не мешает подумать и о том, как бы на будущее время прекратить такое невыгодное производство гадостей. Филантропия сама по себе оскорбительна для человеческого достоинства и заключает в себе глубокую несправедливость; она принуждает одного человека зависеть в своём существовании и благосостоянии от произвольного добродушия другого такого же человека; она создаёт нищего и благотворителя и развращает и того и другого. Она не уничтожает ни бедности, ни праздности; она не увеличивает ни на одну копейку продукты производительного труда. В древнем Риме, под видом раздач дарового хлеба, а в новейших католических государствах южной Европы под видом раздач даровых порций супа у монастырских ворот, эта милая филантропия развратила вконец массы здоровой черни. Не богадельня, а мастерская может и должна обновить человечество. Здоровый человек, посаженный на необитаемый остров, может прокормить самого себя; силы человека увеличиваются в сотни и тысячи раз, когда он вступает в промышленную ассоциацию с другими людьми. Поэтому здоровый человек, живущий в цивилизованном обществе, может и должен собственным трудом прокормиться и одеться, приобрести себе образование и воспитать своих детей. Тут собственный труд не может быть заменён никаким другим ингредиентом. Труду нет простора, труд плохо оплачивается, труд порабощается, и от этих причин происходит всё существующее зло. Кто хочет бороться против зла, не для проповедования времени, а для того, чтобы когда-нибудь действительно победить и искоренить его, тот должен работать над решением вопроса: как сделать труд производительным

для работника и как уничтожить все неприятные и тяжёлые стороны современного труда? Труд есть единственный источник богатства; богатство, добываемое трудом, есть единственное лекарство против страданий бедности и против пороков праздности. Стало быть, целесообразная организация труда может и должна привести за собою счастье человечества. Говорить, что такая организация невозможна, значит подражать тем дряблым старикам, которые считают невозможным всё, до чего не додумались их предшественники и современники. Складывать руки и вздыхать о несовершенствах всего земного, когда люди страдают от собственных глупостей, значит возводить эти глупости в законы природы и обнаруживать леность и робость мысли, недостойные человека свежего, честного и одарённого живым умом.

Так или почти так рассуждают о высоких материях новые люди; взглянувшись в эти рассуждения, каждый читатель, кроме «проницательного», увидит, что в них нет ничего ужасного и что в них, напротив того, много дельного. Искать обновления в труде во всяком случае гораздо рациональнее, чем видеть альфу и омегу¹⁸⁵ человеческого благополучия в учреждении палаты депутатов или палаты пэров. Самая лучшая палата может только сберечь доходы страны, а хорошие мастерские могут удешевить этот доход, удешевляя, кроме того, сумму физических, умственных и нравственных сил работников и приготовляя, таким образом, с каждым годом большее увеличение богатства, образованности и всеобщего благополучия. Не глупо рассуждают новые люди, а всего лучше то, что не в рассуждениях о высоких материях проходит их время. Постоянно имея в виду общую задачу всего человечества, они между тем уже разрешили её в приложении к своей частной жизни. Им труд приятен, и для них он производителен; нет ни одного нового человека, у которого не было бы его любимого труда, и этот труда для него не забава, а действительно цель и смысл всей жизни. Новый человек без своего любимого труда так же немыслим, как немыслим труда без него. Прежние люди заболелись о своём положении в обществе и прежде всего старались составить себе карьеру и состояние, хотя бы пути, ведущие к тому и другому, внушали им глубочайшее отвращение. Для нового человека необходимо прежде всего, чтобы труд был ему по душе и по силам. До тех пор пока он не найдёт такого труда, он ищет его: нашёл — и кончено дело: тогда он влюбляется в него, работает с увлечением страсти, наслаждается всеми радостями творчества и чувствует, что он на белом свете не лишний. И нет такого нового человека, который не нашёл

бы себе любимого дела, потому что вообще нет того здорового человека, который не был бы на что-нибудь способен. И когда все работники на земном шаре будут любить своё дело, тогда все будут новыми людьми, тогда не будет ни бедных, ни праздных, ни филантропов,— тогда действительно потекут те «молочные реки в кисельных берегах», которыми «проницательные читатели» так победоносно поражают негодных мальчишек. — Это невозможно, рычит один из «проницательных». — Конечно, невозможно, но было время, когда и паровые машины были совершенно невозможны. Что было, то прошло, а чему быть, тому не миновать.

III

Опираясь на свой любимый труд, выгодный для них самих и полезный для других, новые люди устраивают свою жизнь так, что их личные интересы ни в чём не противоречат действительным интересам общества. Это вовсе не трудно устроить. Стойт только полюбить полезный труд, и тогда всё, что отвлекает от этого труда, будет казаться неприятною помехою: чем больше вы будете предаваться вашему любимому полезному труду, тем лучше это будет для вас, и тем лучше это будет для других. Если ваш труд обеспечивает вас и доставляет вам высокие наслаждения, то вам нет надобности обирать других людей ни прямо, ни косвенно, ни посредством воровства-мошенничества, ни посредством такой эксплоатации, которая не признана уголовным преступлением. Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпадают с интересами всех остальных трудящихся людей, вы сами — работник, и все работники — ваши естественные друзья, а все эксплоататоры — ваши естественные враги, потому что они в то же время враги всему человечеству, в том числе и себе самим. Если бы все люди трудились, то все были бы богаты и счастливы; но если бы все люди эксплоатировали своих ближних, не трудясь совсем, тогда эксплоататоры поели бы друг друга в одну неделю и род человеческий исчез бы с лица земли. Поэтому кто любит труд, тот, действуя в свою пользу, действует в пользу всего человечества; кто любит труд, тот сознательно любит самого себя, тот в самом себе любил бы всех остальных людей, если бы только не было на свете таких господ, которые невольно или умышленно мешают всякому полезному труду. Новые люди трудятся и желают своему труду простора и развития; в этом желании, составляющем глубочайшую потребность их орга-

низма, новые люди сходятся со всеми миллионами всех тру-
ящийся людей земного шара, всех, кто сознательно или
бессознательно молит бога и просит ближнего, чтобы не ме-
шили ему трудиться и пользоваться плодами труда. Единство
интересов порождает сочувствие, и новые люди горячо и со-
знательно сочувствуют всем действительным потребностям
всех людей. Каждая человеческая страсть есть признак силы,
щущющей себе приложения; смотря по тому, как эта сила будет
приложена к делу, данная страсть будет называться добро-
тетелью или пороком и будет приносить людям пользу или
вред, выгоду или убыток. Силы и страсти, приложенные к
эксплоатации ближнего, должны умеряться какими-нибудь
нравственными мотивами, потому что иначе они подведут
человека, путём порока, под уголовный суд; но силы и стра-
сти, направленные на производительный труд, могут без-
вредно расти и развиваться до каких угодно размеров. Люди,
живущие эксплоатацией, должны остерегаться исключитель-
ного эгоизма, потому что такой эгоизм лишает их всякого
человеческого образа и превращает их в цивилизованных
людоедов, которые гораздо отвратительнее людоедов-дика-
рей. Но люди новые, живущие трудом и чувствующие физио-
логическое отвращение к самой гуманной и добродушной
эксплоатации, могут без малейшей опасности быть эгоис-
тами до последней степени. Эгоизм эксплоататора идёт враз-
рез с интересами всех остальных людей; обогатить себя —
для эксплоататора значит отнять у другого: эксплоататор
принуждён любить себя в ущерб всему остальному миру;
поэтому, если он добродушен и богобоязлив, он старается
любить себя умеренно, так чтобы и себе не было обидно и
другим не слишком больно, но такую умеренность выдержать
очень трудно, и потому эксплоататор всегда пускает или
слишком много эгоизма, так что начинает пожирать других,
или слишком мало, так что сам становится жертвой чужого
эгоистического аппетита. Так как на нашей прекрасной пла-
нете господствует повальная эксплоатация и в семействе, и
в обществе, и в международных отношениях, то у нас при-
нято испускать вопли против эгоизма, называть эгоистами
отъявленных негодяев, и, наоборот, обвинять в безнравствен-
ности таких людей, которые находятся только не на своём
месте. Новые люди держатся вдали от всякой эксплоатации,
без малейшего трепета и без всякого вреда для себя и для
других погружаются в глубочайшую пучину эгоизма и не
принимают на себя ни одного пятна несправедливости ис-
ключительно потому, что умеют найти своё место и пристра-
ститься к своему делу.

Если человек старого закала занимается медицинской практикой, то его эгоизм выражается в том, что он старается сделать в день как можно больше визитов и приобрести как можно больше зелёных и синих бумажек; он эксплуатирует своих пациентов, выслушивает их невнимательно, прописывает рецепты наудачу, бывает у таких больных, которые вовсе не больны, и делает всё это исключительно по привязанности своей к синим и зелёным. Такой человек, конечно, должен иногда укрощать свой эгоизм и от времени до времени читать самому себе довольно убедительные нравоучения. Новый человек занимается медициной не иначе, как по страстному влечению; для него дорог каждый час, потому что каждый час посвящается любимому изучению; для него деньги составляют только средства, которыми он поддерживает свою жизнь, чтобы иметь возможность отдавать эту жизнь труду. Перед постелью больного он является мыслителем, разрешающим научный вопрос. Ему хочется не обобрать пациента, а вылечить его, потому что вылечить — значит разрешить задачу; пациенту также хочется, чтобы его не обобрали, а вылечили; таким образом, интересы медика и интересы больного сливаются между собою, и эксплоатации не существует; доктор нового закала может самым бессовестным образом предаваться своему эгоистическому влечению, и ему за это скажут спасибо и пациенты, и их родственники, и общественное мнение всех сограждан. И этому доктору незачем пугать себя идею долга, потому что между долгом и свободным влечением для него не существует различия. А всё отчего? Всё оттого, что найден любимый труд, оттого, что человек попал на своё место. Это условие необходимо. Без него очень трудно, а может быть, и совсем невозможно быть честным человеком вообще.

Мы видим, таким образом, что в жизни новых людей не существует разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и человеколюбием; это очень важная особенность; это такая черта, которая позволяет им быть человеколюбивыми и честными по тому непосредственно сильному влечению природы, которое заставляет каждого человека заботиться о своём самосохранении и об удовлетворении физических потребностей своего организма. В их человеколюбии нет вынужденной искусственности; в их честности нет щепетильной мелочности: их хорошие влечения просты и здоровы, сильны и прекрасны, как непосредственные произведения богатой природы; да и сами они, эти новые люди, не что иное, как первые проявления богатой

человеческой природы, отмывшей от себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время вековых исторических страданий. Если общественное мнение не признаёт в этих людях простых, но честных представителей своей породы, если оно видит в них что-то особенное, что-то страшное и зловещее, то это значит только, что это так называемое общественное мнение потеряло всякое понятие о человеческом образе, забыло все его приметы, пугается при встрече с ним, как с чем-то незнакомым, и принимает за настоящих людей ту странную породу двуногих, которую Джонатан Свифт выводит в путешествии Гулливера под именем Иагу (*jahou*) и которой глупость и злость так рельефно противополагаются уму и великодушию мыслящих и говорящих лошадей. Трудясь для самых себя, увлекаясь и наслаждаясь процессом труда, новые люди трудятся на пользу человечества, потому что каждый производительный труд полезен для людей. Сначала новые люди приносят пользу и делают добро бессознательно, но потом, самий процесс приношения пользы и делания добра кладёт начало нравственной связи между тем, кто приносит и делает, и теми, кому приносится и для кого делается. Эта связь крепнет по мере того, как работник нового закала приносит больше пользы и делает больше добра. Это уже старая истина, что нам свойственно любить тех, кому мы сделали или делаем добро, и эта старая истина на каждом шагу находит себе подтверждение. Гарибальди¹⁸⁶ любит Италию сильнее, чем какой-нибудь другой итальянец, и, наверное, теперь старики Гарибальди, изношивший свою жизнь в трудах и в изгнании, раненный при Аспромонте итальянскою пулею, любит свою Италию ещё сильнее, чем мог любить её лет тридцать тому назад пламенный юноша Гарибальди: тогда он любил в ней только родину; теперь он кроме родины любит в ней все свои подвиги, все свои страдания, всю блестящую вереницу своих чистых воспоминаний. Роберт Оуэн¹⁸⁷, «святой старики», как называет его Лопухов у г. Чернышевского, всю свою жизнь трудился для людей, и, конечно, под старость любовь его к людям была ещё шире, ещё теплее и, во всяком случае, гораздо более обильна сознательным прощением, чем была та же любовь в первые дни его молодости. Для таких людей, как Оуэн и Гарибальди, не существует старческой дряхлости; такие люди будут новыми людьми для всех веков и народов. Но явление, которое мы замечаем в их жизни, составляет общую принадлежность всех деятелей или мыслителей, отдавших свои силы любимому и полезному труду. В этих деятелях и мыслителях растёт и крепнет любовь к

людям, по мере того как они втягиваются в свой труд и проникаются сознанием его полезности; они становятся постоянно лучше и чище; они постоянно молодеют, вместо того, чтобы дряхлеть и пошлеть; они процессом своего живого и разумного труда смывают с себя ту грязь, которой облепили их родители, которой обрызгала их школа, которой постоянно брызжет на них «тьма кромешная» окружающей жизни.

Люди прежнего времени были красивы и свежи в умственном отношении только тогда, когда были молоды; проходило лет десять, и вся эта красота и свежесть пропадала вместе с румянцем щёк; являлась кропотливость и мелочность, копеечная расчётливость и куриная трусливость; петушок превращался в каплуна, блестящий студент делался отъявленнейшим филистёром и «проницательнейшим» читателем. Всё это было совершенно естественно, потому что прежние молодые люди только ярились и горячились, только красноречиво болтали и красиво разнеживались; забава молодости должна была пройти вместе с молодостью, потому что она была забавою. Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или, по крайней мере, с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила. Забирайте с собою чувства молодости, после не подымете, говорит Гоголь, и правду он говорит. А как их заберёшь с собою, если не вложишь их целиком в такое дело, на которое до последней минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего существа? Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины. И дорогие люди, и наслаждения, и любимая женщина, всё это, несомненно, очень хорошие вещи, но сам человек для самого себя дороже всего на свете. Если ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе право глубоко и сознательно уважать — самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать, что он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь, он лишился двух-трёх радостей, но взамен их получил высшее наслаждение, которое служит украшением для жизни и поддержкою в минуту агонии; он получил

право знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта не мала.

Вот эгоизм новых людей, и этому эгоизму нет границ; ему они, действительно, приносят в жертву всех и всё. Любят они себя до страсти, уважают до благоговения; но так как они даже в отношении к самим себе не могут быть слепыми и спящими, то им приходится держать ухо востро, чтобы удерживать за собою во всякую данную минуту свою любовь и своё уважение. Ещё больше, чем своею любовью и своим уважением, они дорожат прямыми и откровенными отношениями своего анализирующего и контролирующего «Я» к тому «Я», которое действует и распоряжается внешними условиями жизни. Если бы одно «Я» не могло смотреть смело и решительно в глаза другому «Я», если бы одно «Я» вздумало отвечать увёртками и софизмами на запросы другого «Я», а другое «Я» в это время осмелилось бы смотреть сквозь пальцы и удовлетворяться пустыми отговорками первого, то вслед за этим позорным сумбуром в душе нового человека забушевало бы такое отчаяние и родилось бы такое конвульсивное отвращение к своей опоганенной особи, что он, наверное, наплевал бы себе в глаза и потом, исказивши себя таким образом, кинулся бы головою вперёд в самый глубокий омут. Новый человек знает очень хорошо, как он неумолим и безжалостен к самому себе; новый человек боится самого себя больше, чем кого бы то ни было; он — сила, и горе ему, если когда-нибудь его сила обратится против него самого. Если он сделает такую гадость, которая произведёт в нём внутренний разлад, то он знает, что от этого разлада не будет другого лекарства, кроме самоубийства или сумасшествия. Мне кажется, что такая потребность самоуважения и такая боязнь собственного суда будет покрепче тех нравственных перил, которые отделяют людей старого закала от разных мерзостей, тех перил, через которые разные неделимые обоего пола так свободно и изящно порхают туда и обратно, — тех перил, за неимением которых новым людям приходится выслушивать такие утомительные наставления со стороны «проницательных читателей», владеющих пером или одержимых слабостью к назидательному красноречию. Новые люди всеми преимуществами своего типа обязаны живительному влиянию любимого труда. Благодаря ему, они могут быть полнейшими эгоистами; чем глубже становится их эгоизм, тем сильнее делается их любовь к человечеству, тем неизменнее и прочнее держится в новых людях их молодость и свежесть, тем шире раскрываются ум и чувство, тем более они

дорожат своим собственным уважением, тем строже становится их верность самим себе, и, вследствие всего этого, тем ближе подходят они к всестороннему развитию своих сил и к безбрежной полноте своего счастья.

IV.

Люди, живущие эксплоатациею ближних или присвоением чужого труда, находятся в постоянной наступательной войне со всем окружающим их миром. Для войны необходимо оружие, и таким оружием оказываются умственные способности. Ум эксплоататоров почти исключительно прилагается к тому, чтобы перехитрить соседа или распутать его интриги. Нанести поражение ближнему или отпарировать его ловкий удар — значит обнаружить силу своего оружия и своё умение распоряжаться им, или, говоря языком менее воинственным и более употребительным, значит выказать тонкий ум и обширную житейскую опытность. Ум заостряется и закаляется для борьбы, но всем известно по опыту, что чем лучше оружие приспособлено к военному делу, тем менее оно пригодно для мирных занятий. Студенты, при всём своём остроумии, могли приурочить свои шаги только к мешанию в печке, да ещё к варению жжёнки, но и эти две должности оружие войны и символ чести исполняет довольно плохо. То же самое можно сказать и об уме, воспитанном для междоусобных распрай. В нём развиваются очень сильно некоторые качества, совершенно ненужные и даже положительно вредные для успешного хода мирного мышления. Мелкая проницательность, мелкая подозрительность, умение и охота всматриваться очень внимательно в такие крошечные случаи вседневной жизни, которые вовсе не заслуживают изучения, умение и охота морочить себя и других софизмами, сшитыми на живую нитку, — вот те свойства, которыми обыкновенно отличается ум практического человека нашего времени. Ум этот непременно делается близоруким, потому что практический человек постоянно смотрит себе под ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь западню. Мелких неудач он осторегается очень тщательно, и ему действительно часто случается избавляться от них, благодаря своей мелочной осмотрительности, но зато над общим направлением своей жизни практический человек теряет всякий контроль: он бредёт потихоньку и всё смотрит себе под ноги, а потом вдруг оглядывается кругом, и сам не знает, куда это его занесло. Обобщать факты он, благодаря типическим свойствам своего ума, решительно не умеет; отдавать себе отчёт

в общем положении вещей и придавать своим поступкам какой-нибудь общий смысл он также не в состоянии; события уносят его с собою, и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не противиться их течению, которого он всё-таки не понимает. Величайшими представителями этого типа практических людей и эксплоататоров можно назвать Меттерниха и Талейрана¹⁸⁸: никто не скажет, чтобы у этих господ не было природного ума, но всякий поймёт также, что этот ум долговременною дрессировкою, начавшеюся с колыбели, был заострён и закалён для самого одностороннего употребления, именно для того, чтобы морочить людей софизмами, не поддаваясь софизмам противоположного лагеря. Вся тайна призрачного могущества Меттерниха и Талейрана заключается в их гибкости и бесцветности, в их полном равнодушии к своим собственным софизмам и в их всегдашней готовности переходить от одного софизма к другому, совершенно противоположному. Они не имели над событиями никакой власти и не оказывали на них ни малейшего влияния, точно так же как флюгер только указывает на перемену ветра, а не производит её. Никакая буря не могла разбить Талейрана, потому что в нём нечего было разбивать, — не было никакого твёрдого содержания. Если же Меттерниха разбила революция 1848 года, то это обстоятельство следует приписать исключительно наивности добрых немцев: они приняли вывеску принципа за самый принцип; вывеску сняли — они прокричали «виват» и, конечно, остались в дураках. Ум Меттерниха, Талейрана и всяких других эксплоататоров, мелких и крупных, отличается крайнею односторонностью; он только на то и годится, чтобы поражать других людей в сражении, то-есть чтобы водить их за нос. Когда такие господа руководствуются расчётами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчёты заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что эти расчёты близоруки, а внушения узкого и близорукого эгоизма всегда подают повод к самым возмутительным несправедливостям.

Люди старого закала знают это очень хорошо, и потому они говорят, что ум должен управлять нашими поступками, когда мы сталкиваемся с посторонними людьми; когда же мы входим в своё семейство или вступаем в сношения со своими друзьями, то должны класть своё боевое оружие в ножны и действовать по внушению чувства, чтобы не изранить и не надуть по неосторожности людей, которых мы действительно и бескорыстно любим. У людей старого закала голос чувства и голос рассудка — находится в постоянном разладе, и потому они, во избежание дисгармонии, всегда

заставляют молчать один из этих голосов, когда говорит другой. А из этого выходит, естественно, следствие, что в своих деловых сношениях они почти всегда бывают жестоки и несправедливы, а в своей домашней жизни — нелепы и бестолковы. Здоровые люди не должны раздваивать своего существа; каждый предмет, обращающий на себя их внимание, должен рассматриваться с разных сторон; впечатление, которое этот предмет производит на непосредственное чувство, так же важно, как то официальное впечатление, которое он оставляет по себе в нашем анализирующем уме. Если существует разноголосица между требованиями нашего чувства и суждением нашего ума, то эту разноголосицу надобно устраниить, ум и чувство надо примирить; но примиряются они не тем, что мы скажем тому или другому — «молчать!» — а тем, что мы тщательно и спокойно сличим требование чувства с суждением ума, доищемся скрытых причин того и другого и, наконец, путём беспристрастного размышления дойдём до такого решения, которым одинаково удовлетворятся и ум и чувство. У людей, живущих присвоением, соглашение между умом и чувством невозможно; их чувство проявляется беспорядочными вспышками, которые имеют чисто физиологическое основание, а ум их не признаёт самых элементарных начал справедливости, потому что справедливость, то-есть общая польза, находится в вечном разладе с мелкою, житейскою личною выгодою. Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность помирить чувство, вытекающее из слабонервности и прекращающееся от приёма вишнёвых капель, с расчётом, основанным на рублях и копейках и неспособным видеть за рублями и копейками ни законов природы, ни страданий живого человека? Конечно, на это нет никакой возможности и ни малейшей необходимости. По-настоящему, надо было бы уничтожить и то и другое, то-есть и бестолковую чувствительность и бестолковую сквердность; надо было бы возвратить изуродованному уму его первобытную способность к широкому мышлению, обобщающему разрозненные факты и постигающему связь между причинами и следствиями; надо было бы превратить людей старого закала в людей новых; но так как подобное превращение совершенно невозможно, то надо махнуть на них рукою; пускай их переходят от конторских книг к лавровицневым каплям, от страстных объятий к биржевой игре и от благонамеренного надувательства к добродетельному умилению перед закатом солнца.

Если я так долго останавливался на их уме и чувстве, то это даёт мне возможность очень коротко охарактеризовать

соответствующие особенности ума и чувства новых людей: у них ум и чувство находятся в постоянной гармонии, потому что их ум не превращён в орудие наступательной борьбы; их ум не употребляется на то, чтобы надувать других людей, и поэтому они сами могут всегда и во всём доверяться его приговорам; не привыкши мошенничать с соседями, их ум не мошенничает и с самим хозяином. Зато новые люди действительно питают к уму своему самое безграничное доверие. Это надо понимать не в том смысле, будто каждый из них считает себя умнейшим человеком на свете. Совсем нет. Каждый из них думает только, что каждый взрослый человек, одарённый самыми обыкновенными умственными способностями, может обсудить своё положение и свои поступки гораздо лучше и отчётилее, чем обсудил бы их за него со стороны величайший из гениальных мыслителей. Как было красиво и утешительно какое-нибудь миросозерцание, сколько бы веков и народов ни считали его за непреложную истину, какие бы мировые гении ни преклонялись перед его убедительностью, — самый скромный из новых людей примет его только в том случае, когда оно соответствует потребностям и складу его личного ума. У каждого нового человека есть свой внутренний мир, в котором личный ум господствует с неограниченным самовластием; в этот мир проникает только то, что пропускает личный ум, и только то, что по самой природе своей может признать над собою полное господство личного ума. Что не покоряется личному уму, о том новый человек говорит очень скромно: «Этого я не понимаю», а что остаётся непонятным, того новый человек не пускает во внутренний мир и тому он свидетельствует издали своё глубочайшее почтение, если того требуют внешние обстоятельства.

Когда ветхому человеку приходится вести с собственным умом откровенные беседы, то при этом высказываются довольно щекотливые истины: «Ведь я тебя, приятель, знаю», — говорит ветхий человек своему уму, — ведь ты подлец, каких мало. Ведь, если дать тебе волю, ты придумаешь такую кучу гадостей, что мне самому противно сделается, хоть я человек не брезгливый. Постой же, голубчик, я тебя вышколю». И затем начинается усовещевание ума и запугивание его посредством разных крайне почтенных понятий, которым должны сдерживаться слишком художественные его стремления. Для нового человека так же невозможно производить над своим умом такие проделки, как невозможно для всякого человека вообще укусить свой собственный локоть. Во-первых, чем ты его запугаешь? А во-вторых, зачем запуги-

вать? Нечем и незачем. Новый человек верит своему уму и верит только ему одному; он вводит свой ум во все обстоятельства своей жизни, во все заветные уголки своего чувства, потому что нет той вещи и нет того чувства, которое *его* ум мог бы замарать или опошлить своим прикосновением. Когда ветхие люди влюбляются, они выдают своему уму бессрочный отпуск и, благодаря его отсутствию, делают разные глупости, которые очень часто превращаются в гадости вовсе не шуточного размера. Девушку или женщину заставляют сделать решительный шаг, а к этому времени возвращается из своей отлучки рассудок — и ветхий человек, испугавшись последствий своей невинной щутки, обращается в расчётливое бегство и потом оправдывается тем, что он сам себя не помнил, что был, как сумасшедший. Ветхие люди только и делают, что грешат и каются, и неизвестно, когда они бывают подле: когда грешат или когда каются.

Новые люди не грешат и не каются: они всегда размышляют и потому делают только ошибки в расчёте, а потом исправляют эти ошибки и избегают их в последующих выкладках. У новых людей добро и истина, честность и знание, характер и ум оказываются тождественными понятиями; чем умнее новый человек, тем он честнее, потому что тем меньше ошибок вкрадывается в расчёты. У нового человека нет причин для разлада между умом и чувством, потому что ум, направленный на любимый и полезный труд, всегда советует только то, что согласно с личною выгодою, совпадающей с истинными интересами человечества, и, следовательно, с требованиями самой строгой справедливости и самого щекотливого нравственного чувства.

Основные особенности нового типа, о которых я говорил до сих пор, могут быть сформулированы в трёх главных положениях, находящихся в самой тесной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились к общеполезному труду.

II. Личная польза новых людей совпадает с общую пользу, и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству.

III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии с их чувством, потому что ни ум, ни чувство их не искажены хроническою враждою против остальных людей.

А всё это вместе может быть выражено ещё короче: новыми людьми называются мыслящие работники, любящие свою работу. Значит, и злиться на них незачем.

V

Обозначенные мною особенности нового типа представляют только самые общие контуры, внутри которых открывается

самый широкий простор всему бесконечному разнообразию индивидуальных стремлений, сил и темпераментов человеческой природы. Эти контуры тем и хороши, что они не урезывают ни одной оригинальной черты и не навязывают человеку ни одного обязательного свойства. В этих контурах уживается и насладится полным счастием каждый человек, если только он не испорчен до мозга костей произвольно придуманными аномалиями нашей неестественной жизни. Но так как эти контуры не могут дать читателю полного понятия о живых человеческих личностях, принадлежащих к новому типу, то я обращаюсь теперь к роману г. Чернышевского и возьму из него тот эпизод, в котором сосредоточивается главный его интерес. Я постараюсь проследить, как развивается в Вере Павловне любовь к другу её мужа, Кирсанову, и как ведут себя в этом случае Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна.

Когда Вера Павловна тайком от родителей вышла замуж за Лопухова, то и муж и жена силою обстоятельств были принуждены работать пристально и усердно. Надо было спасаться от нужды; он занимался переводами и уроками, она также давала уроки; оба трудились добросовестно и мало-помалу ввели в свою жизнь комфорт и изящество. Когда им перестала угрожать нужда, Вера Павловна задумалась над устройством такой швейной мастерской, в которой был бы совершенно устраниён элемент эксплоатирования работниц. Задумалась и устроила. Много времени потребовалось на то, чтобы ознакомить работниц с новым порядком, много нужно было осторожности и искусства, чтобы не озадачить их новизною устройства и не оттолкнуть их от небывалого предприятия; однако Вере Павловне удалось победить все эти трудности, и года через два после своего основания мастерская доставляла всем швеям возможность иметь просторную и здоровую общую квартиру, сытый и вкусный стол, некоторые развлечения и частицу свободного времени для умственных занятий. Развитие и окончательное усовершенствование мастерской описаны г. Чернышевским очень ясно, подробно и с тою сознательною любовью, которую подобные учреждения естественным образом внушают ему как специалисту по части социальной науки.

В практическом отношении это описание мастерской, действительно существующей или идеальной, всё равно, составляет, может быть, самое замечательное место во всём романе. Тут уже самые лютые ретрограды не сумеют найти ничего мечтательного и утопического, а между тем этою стороною своею роман «Что делать?» может произвести столько

деятельного добра, сколько не произвели до сих пор все усилия наших художников и обличителей. Ввести плодотворную идею в роман и применить её именно к такому делу, которое доступно силам женщины,— мысль, как нельзя более счастливая. Если бы эта мысль заглохла без следа, то пришлось бы изумиться умственной вялости нашего общества, с одной стороны, и силе обстоятельств, задерживающих его развитие — с другой. Но, отдавая должную справедливость этим свойствам нашей жизни, нельзя не сказать, однако, что совершенно бесследно мысль эта могла пройти только разве между кретиками. Поэтому не одно честное сердце отозвалось на неё, не один свежий голос откликнулся на этот призыв к деятельности, обращённый к нашим женщинам. В этом отношении г. Чернышевский, разрушитель эстетики, оказался единственным нашим беллетристом, художественное произведение которого имело непосредственное влияние на наше общество, правда, на небольшую часть его, но зато на лучшую.

Главнейшие основания в устройстве мастерской Веры Павловны заключались в том, что прибыль делилась поровну между всеми работницами и потом расходовалась самым экономическим и расчётыным образом; вместо нескольких маленьких квартир, нанималась одна большая; вместе того, чтобы покупать съестные припасы по мелочам, их покупали оптом. Для личной жизни Веры Павловны устройство мастерской и прежние труды по урокам важны в том отношении, что они ограждают её в глазах читателя от подозрения в умственной пустоте. Вера Павловна — женщина нового типа; время её наполнено полезным и увлекательным трудом; стало быть, если в ней рождается новое чувство, вытесняющее её привязанность к Лопухову, то это чувство выражает собою действительную потребность её природы, а не случайную прихоть праздного ума и блуждающего воображения. Возможность этого нового чувства обусловливается очень тонким различием, существующим между характерами Лопухова и его жены. Это различие, разумеется, не производит между ними взаимного неудовольствия, но мешает им доставить друг другу полное семейное счастье, которого оба они имеют право требовать от жизни.

Гейне в своей книге о Берне различает два главные типа людей: одни, страстно и упорно сосредоточивающие свои силы на одной обожаемой идее, причисляются к иудейскому типу; другие, раскидывающие свои силы во все стороны и везде отыскивающие себе наслаждения, составляют тип эллинский. Гейне замечает, что эти типы находят себе блестящее воплощение в тех двух народах, которым они обязаны своим

названиями, но что, несмотря на то, они часто перекрещиваются между собою, так что коренной иудей оказывается эллином по характеру, а чистейший эллин — иудеем. Гейне самого себя причисляет к эллинскому типу, а своего строгого критика Берне считает чистым представителем типа иудейского. Оба типа встречаются всего чаще в смягчённом и ослабленном виде и очень редко доходят до своего полного развития.

Разбирая характер Лопухова и его жены, я могу сказать, что он был преимущественно иудеем, а она склонялась к эллинскому типу. Она любит цветы и картины, любит покушать сливок, понежиться в тёплой и мягкой постели, развлечься оперной музыкой; у него в кабинете нет ни цветов, ни картин; на стене висят только её портрет и портрет «святого старика», Роберта Оуэна; она много работает, а веселится редко и воодушевляется только тогда, когда заходит речь о его обожаемой идее, о той идее, с которой связаны имена Оуэна, Фурье¹⁸⁹ и немногих других истинных друзей человечества. Эти внешние различия служат признаками более глубоких внутренних различий. Ей необходимо постоянное присутствие любимого человека, постоянное согревающее влияние его ласки и нежности, постоянное участие его в её работах и в её забавах, в её серьёзных размышлениях и в её полуребяческих шалостях. В нём, напротив того, нет потребности в каждую данную минуту жить с нею одною жизнью, участвовать в каждой её радости, делить поровну каждое впечатление. Он всегда поможет ей в минуту раздумья или огорчения; он подойдёт к ней, если она позовёт его в минуту веселья, но подойдёт или по её призыву, или потому, что без её слов угадает её желание; в нём самом нет внутреннего влечения к тем удовольствиям, которые любит она. Ему необходимо иногда уединяться и сосредоточиваться; он сам говорит себе, что отдыхает только тогда, когда остаётся совершенно один. Стало быть, в семейной жизни Лопуховых непременно один из супругов должен был в угоду другому подавлять личную особенность своего характера. При таких условиях полное счастье любви совершенно невозможно, тем более, что такие люди, как Лопуховы, превосходно понимают условия настоящего счастья и по высоте своей умственной организации и своего развития неизбежно оказываются очень требовательными в отношении всех процессов психической жизни. Когда к аккорду любви примешивается малейший фальшивый звук, соответствующий едва заметному стеснению одной из любящих личностей,—тогда весь аккорд оказывается диссонансом, и диссонанс этот делается тем томительнее и тяжелее, чем выше и тоньше организация заинтересованных лиц. Когда

умный и честный мужчина и умная и честная женщина стараются осчастливить друг друга и не могут достигнуть этого и видят бесплодность своих усилий, то оба становятся мучениками: чтобы выйти из этого страшно драматического положения, им необходимо расстаться, как бы ни было велико их взаимное уважение и как бы ни была сильна связывающая их дружба.

Только на четвёртый год своего замужества Вера Павловна начинает чувствовать, что какие-то потребности её душевной жизни остаются неудовлетворёнными; это смутное чувство неудовлетворения долго остаётся несознанным, потому что жизнь Веры Павловны в родительском доме была очень тяжела; вырвавшись, как она говорит, «из подвала», она рада была воздуху свободы, она была полна признательностью к своему освободителю, несмотря на то, что и она и освободитель её совершенно справедливо считают признательность унизительным чувством, которое порабощает одного человека и оскорбляет другого. Четыре ~~тода~~ разумной и свободной жизни развернули богатые способности Веры Павловны, изгладили тяжёлые воспоминания о подвале и дали нашей героине возможность относиться совершенно непринужденно, без всякой примеси признательности к личности освободителя, который, конечно, сам был особенно рад тому, что пропала низкая признательность и явилось совершенню свободное уважение. Но уважение и признательность Веры Павловны к своему добруму и умному мужу так сильны, что она приходит в совершенный ужас, когда в голову её закрадывается сомнение в том, действительно ли она его любит и действительно ли она с ним счастлива.

«Вера Павловна просыпается с этим восклицанием, и быстрее, чем сознала она, что видела только сон, и что она проснулась, она уже вскочила, она бежит.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Мне снился страшный сон! — Она жмётся к мужу. — Мой милый, ласкай меня, будь нежен со мною, защити меня!

— Верочка, что с тобою? — Муж обнимает её. — Ты вся дрожишь. — Муж целует её. — У тебя на щеках слёзы, у тебя холодный пот на лбу. Ты босая бежала по холодному полу, моя милая; я целую твои ножки, чтобы согреть их.

— Да, ласкай меня, спаси меня! Мне снился гадкий сон, мне снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешной сон!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, целуй меня, — я тебя люблю, я тебя хочу любить.

Она крепко обнимает мужа, вся жмётся к нему и, успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его.

В это утро Дмитрий Сергеич (Лопухов) не идёт звать жену пить чай: она здесь, прижавшись к нему; она ещё спит; он смотрит на неё и думает: «Что это такое с ней, чем она была испугана, откуда этот сон?»

Новые люди никогда ничего не требуют от других, им самим необходима полная свобода чувств, мыслей и поступков, и потому они глубоко уважают эту свободу в других. Они принимают друг от друга только то, что даётся, — не говорю добровольно, — этого мало, но с радостью, с полным и живым наслаждением. Понятие жертвы и стеснения совершенно не имеет места в их миросозерцании. Они знают, что человек счастлив только тогда, когда его природа развивается в полной своей оригинальности и неприкосновенности; поэтому они никогда не позволяют себе вторгаться в чужую жизнь с личными требованиями или с навязчивым участием. Вера Павловна в приведённой сцене требует от мужа ласки и нежности, и он, разумеется, с радостью исполняет её желание; но требует или просит она только потому, что не помнит себя от испуга; в нормальном положении она ничего не станет требовать; ей будет казаться, что муж ласкает её не по собственному влечению, не для себя, а для неё, и когда появится эта мысль, тогда ей будет тяжело и, наконец, невозможно принимать те ласки, которые составляют, однако, потребность её любящей природы. Лопухов понимает это и потому задумывается над её сном и над происшедшем между ними сценой. Через месяц после страшного сна происходит следующая сцена, находящаяся в прямой связи с предыдущею:

«— Верочка, милая моя, что ты задумчива?

Вера Павловна плачет и молчит.

— Нет, — она утёrlа слёзы, — нет, не ласкай, мой милый! Довольно! Благодарю тебя! — И она так кротко и искренно смотрит на него. — Благодарю тебя, ты так добр ко мне.

— Добр, Верочка? Что это, как это?

— Добр, мой милый; ты добрый».

Теперь уже никакие силы, никакие старания не могут восстановить нарушенной гармонии любви. Когда женщина думает, что мужчина ласкает её по своей доброте, вся её законная гордость возмущается против этой обидной доброты, вся её деликатность стремится оттолкнуть прочь эту жертву. Кто любит, тот непременно хочет, чтобы любовь доставляла равные наслаждения ему и другому. Где это условие не соблюдено, там мужчина и женщина могут быть друзьями, могут уважать друг друга, но любви между ними не может и не должно

существовать, потому что любовь была бы порабощением для одного из них и несчастием для обоих. Через два дня натянутость положения становится ещё заметнее.

«Муж сидит подле неё, обнял её..:

«Да, это не то, во мне нет того», думает Лопухов.

«Какой он добрый, какая я неблагодарная!» думает Вера Павловна.

Вот что они думают.

Она говорит:

— Мой милый, иди к себе, занимайся или отдохни, — и хочет сказать, и умеет сказать эти слова простым, неунылым тоном.

— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? мне и здесь хорошо, — и хочет, и умеет сказать эти слова простым, весёлым тоном.

— Нет, иди, мой милый. Ты довольно делаешь для меня. Иди отдохни. — Он целует её, и она забывает свои мысли, и ей опять так сладко и легко дышать.

— Благодарю тебя, мой милый, — говорит она».

То, что происходит между Лопуховым и его женою, не бросает ни малейшей тени ни на него, ни на неё. С их стороны не было даже ошибки в выборе, потому что обстоятельства доброго старого времени, окружавшие Веру Павловну в родительском доме, делали всякий свободный выбор, всякое колебание и даже всякое промедление совершенно невозможными. Ей надо было прежде всего вырваться из подвала; ему, как честному человеку, надо было прежде всего высвободить её из невыносимого положения. Если бы при таких условиях они стали внимательно изучать друг друга да исследовать тончайшие особенности характеров, то их надо было назвать старыми тряпками, вроде Рудина, а никак не свежими людьми нового типа. Они видели друг в друге честных и умных людей, братьев по взгляду на жизнь; этого было совершенно достаточно для того, чтобы он смело протянул ей руку, и для того, чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую опору. Этот образ действий был совершенно согласен с их характерами, и он сам по себе был безусловно хорош. Теперь из этого образа действия развиваются последствия, одинаково тягостные для Лопухова и для его жены. Ветхие люди не сумели бы справиться с этими последствиями; они стали бы обвинять и мучить друг друга, когда ни тот, ни другой ни в чём не виноваты; они стали бы действовать наперекор собственной своей природе, и, разумеется, из этих неестественных и неразумных усилий не вышло бы ничего, кроме бесплодного страдания; они с тупой покорностью склонили бы голову перед так назы-

ваемым решением судьбы, между тем как в их собственных руках находились бы все средства завоевать себе полное и прочное счастье. Новые люди в подобных случаях поступают совершенно иначе; они спокойно и внимательно осматривают своё положение, убеждаются, что оно действительно тяжело, стараются переделать не природу, а обстоятельства и, благодаря своим разумным усилиям, всегда находят себе счастливый выход из самых серьёзных затруднений. Цельность природы, гармония между умом и чувством и постоянное присутствие духа должны непременно преодолевать такие препятствия, перед которыми ветхие люди останавливаются в недоумении и приходят в безвыходное отчаяние.

VI

Вера Павловна надеется снова найти себе счастье и спокойствие в серьёзной и заботливой любви своего мужа, но Лопухов, как человек более опытный, понимает, что надеяться поздно. Ему тяжело отказываться от того, что он считал своим счастьем, но он не ребёнок и не старается поймать луну руками. Он видит, что причины разлада лежат очень глубоко, в самих основ обоих характеров, и потому он старается не о том, чтобы кое-как заглушить разлад, а, напротив, о том, чтобы радикально исправить беду, хотя бы ему пришлось совершенно отказаться от своих отношений к любимой женщине. Тут нет никакого сверхъестественного героизма. Тут только ясный и верный расчёт. Когда благоразумный человек ранен и когда пуля засела в его ране, он не говорит доктору: «Залечите мне рану», а говорит напротив того: «Углубите и расширьте рану, чтобы можно было вынуть пулю». Когда рану исследуют зондом, пациенту очень больно; но ему гораздо выгоднее перенести эту сильную боль, чем оставить в своём теле пулю и иметь в перспективе антонов огонь или что-нибудь в этом роде. Лопухов ясно понимает своё положение и потому постоянно действует так, как люди, не умеющие мыслить, действуют только во время редких и случайных припадков слепого героизма. Ему очень тяжело, но даже в это тяжёлое время ему приходится испытать минуты такого глубокого наслаждения, о каком иной «проницательный читатель» во всю свою жизнь не составит себе даже приблизительного понятия.

— Позволишь ли ты мне, — говорит он Вере Павловне, — просить тебя, чтобы ты побольше рассказала мне об этом сне, который так напугал тебя.

— Мой милый, теперь я не думала о нём. И мне так тяжело вспоминать его.

— Но, Верочка, быть может, мне полезно будет знать его.

— Изволь, мой милый. Мне снилось, что я скучаю оттого, что не поехала в оперу, что я думаю о ней, о Бозио; ко мне пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозио и которая всё пряталась от меня; она заставила меня читать мой дневник; там было написано всё только о том, как мы с тобой любим друг друга, а когда она дотрогивалась рукой до страниц, на них показывались новые слова, говорившие, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой друг, что я ещё спрошу тебя: ты только видела во сне?

— Милый мой, если бы не только, разве я не сказала бы тебе? Ведь я это тогда же тебе сказала.

Это было сказано так нежно, так искренно, так просто, что Лопухов почувствовал в груди волнение теплоты и сладости, которого всю жизнь не забудет тот, кому счастье дало испытать его. О, как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут знать это чувство! Все радости счастливой любви ничто пред ним, оно навсегда наполняет чистейшим довольствием, самою святою гордостью сердце человека.

В словах Веры Павловны, сказанных с некоторою грустью, слышался упрёк; но ведь смысл этого упрёка был: «друг мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужил полное доверие моё? Жена должна скрывать от мужа тайные движения своего сердца, таковы уже те отношения, в которых они стоят друг к другу. Но ты, милый мой, держал себя так, что от тебя не нужно утаивать ничего, что моё сердце открыто перед тобою, как передо мною самою». Это великая заслуга в муже; эта великая награда покупается только высоким нравственным достоинством; и кто заслужил её, тот вправе считать себя человеком безукоризненного благородства, тот смело может надеяться, что совесть его чиста и всегда будет чиста, что мужество никогда ни в чём не изменит ему, что во всех испытаниях, всяких, каких бы то ни было, он останется спокоен и твёрд, что судьба почти не властна над миром его души, что с той поры, как он заслужил эту великую честь, до последней минуты жизни, каким бы ударам ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего человеческого достоинства. Мы теперь довольно знаем Лопухова, чтобы видеть, что он был человек не сентиментальный; но он был так тронут этими словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Верочка, друг мой, ты упрекнула меня, — его голос дрожал во второй раз в жизни и в последний раз; в первый раз голос его дрожал от сомнения в своём предположении, что он отгадал, теперь дрожал от радости: — ты упрекнула меня,

но этот упрёк мне дороже всех слов любви. Я оскорбил тебя своим вопросом: но как я счастлив, что мой дурной вопрос дал мне такой упрёк. Посмотри, слёзы на моих глазах, с детства первые слезы в моей жизни.

Он целый вечер не сводил с неё глаз, и ей ни разу не пришло в голову, что он делает над собою усилие, чтобы быть нежным, и этот вечер был одним из самых радостных в её жизни, по крайней мере до сих пор».

Да, надо быть недюжинным человеком, чтобы приобрести полную доверенность другого человека, и надо быть ещё более недюжинным человеком, чтобы, убедившись в существовании этой доверенности, так глубоко почувствовать ту святую радость, которую испытал Лопухов. В этой радости нет ничего своекорыстного. На ней Лопухов не основывает никакой практической надежды; после разговора с женой он серьёзнее прежнего задумывается над их общим положением и задаёт себе не тот вопрос: «любит ли она его или нет?», а тот: «из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его?» Психологическая задача, требующая от него разрешения, несколько не изменяется в его глазах вследствие того упрёка Веры Павловны, который возбудил в нём чувство гордой и мужественной радости; стало быть, радость его основана исключительно на том обстоятельстве, что ему всего дороже достоинство собственной личности; а кому это достоинство так дорого, кто способен так сильно радоваться, когда это достоинство встречает себе справедливую оценку со стороны любимых и уважаемых личностей, тот, разумеется, пройдёт спокойно и твёрдо через всякие испытания, потому что никакие испытания не могут отнять или испортить у него то, чем он действительно дорожит больше всего на свете. Когда пустой, слабый человек слышит лестный отзыв насчёт своих сомнительных достоинств, он упивается своим тщеславием, признаётся и совсем теряет свою крошечную способность относиться критически к своим поступкам и к своей особе. Напротив того, человек с сильным умом и с твёрдою волею, получая себе заслуженную дань уважения, испытывает глубокую и вместе спокойную радость, которая удваивает его бдительность над собою, его внимательность к чистоте своей личности и его непоколебимую решимость идти вперёд по тому же неизменному пути правильного расчёта.

В психологическом отношении чрезвычайно верно то обстоятельство, что Лопухов после разговора с Верой Павловной ещё раз вдумывается в её положение и, наконец, отыскивает из него выход. Радость освежила весь его организм и усилила

деятельность его мысли; испытав эту радость, он и себя, и жену, и весь мир любит сильнее, чем за минуту перед тем; а когда вся душа человека потрясена приливом всеобъемлющей любви и переполнена чистейшим счастьем самоуважения, в его мыслях нет места узкому своекорыстию; он разрешает затруднения быстро и бесстрашно, потому что в такие минуты он готов идти навстречу всяkim страданиям, лишь бы только эти страдания навсегда упрочили за ним право считать себя честным человеком. Продумав часов до трёх ночи, Лопухов убеждается, что у жены его возникает любовь к Кирсанову; анализируя характер Кирсанова, Лопухов замечает, что в этом характере есть свойства, которые необходимы для Веры Павловны и которых нет у него, Лопухова. Всматриваясь в поведение Кирсанова, Лопухов находит в нём такие факты, которые заставляют его думать, что Кирсанов давно уже любит Вера Павловну. Года три тому назад Кирсанов, постоянно бывавший в доме Лопуховых, вдруг отдалился от них, прикрывая своё отступление какими-то несостоятельными предложениями. Приглашённый недавно к Лопухову по случаю болезни последнего, он снова сблизился с ним и с его женой, но потом опять отплатился от их дома. Сближая все эти обстоятельства, Лопухов решает, что Кирсанов любит его жену и держится вдали от неё, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или взглядом не нарушить спокойствие женщины, пользующейся, по его мнению, полным семейным счастьем. Перед Лопуховым лежат теперь две дороги. Во-первых, он может оставаться в положении строгого нейтралитета. Кирсанов не будет их посещать; зарождающееся чувство Веры Павловны заглохнет во время его отсутствия, и семейная жизнь Лопуховых пойдёт своим обычным порядком. Во-вторых, он может своим вмешательством изменить ход событий. Он скажет Кирсанову, чтобы тот бывал у них попрежнему, чувство Веры Павловны разовьётся, и жизнь её наполнится радостями взаимной любви.

«Проницательный читатель» скажет, что пойти по второй дороге может только сумасброд, что это и глупо, и безнравственно, и чорт знает на что похоже. Посудите сами, муж приглашает к себе в дом человека, которого прочит в любовники к своей жене. Хорош муж, и хороша жена, и хорошо третья лицо! — Ну, когда ветхий человек или «проницательный читатель» облегчит свою переполненную грудь громкими возгласами и наговорит нам значительное количество жалких слов, я возьму на себя смелость заметить, что прямая обязанность Лопухова состояла в том, чтобы пойти по этой дороге, и что, кроме того, на ту же самую дорогу указывал ему

прямой и ясный расчёт. По расчёту выходит так: Лопухов знает, что сам не может составить счастье своей жены, стало быть, их семейная жизнь будет тягостна для обоих, и, кроме того, рано или поздно может случиться, что Вера Павловна с горя влюбится в такого человека, который будет во всех отношениях хуже Кирсанова. Если же она полюбит Кирсанова, то тягостное положение будет разрушено к обоюдной выгоде Лопуховых, которые оба должны желать его прекращения. Конечно, было бы лучше, если бы Вера Павловна могла вполне удовлетвориться любовью своего мужа; но так как это, судя по данным характера, невозможно, то об этом нечего и толковать. Требования честности в этом случае формулируются так: человек не имеет права отнимать счастье у другого человека ни своими поступками, ни словами, ни даже молчанием. Если от нескольких слов одного зависит счастье другого и если первый не произносит этих слов, то он крадёт чужое счастье и этим поступком мараet свою личность. Если он станет говорить в своё оправдание, что он ничего не сделал, что он умыгдал руки и оставался нейтральным, то замараet себя ещё сильнее, потому что такие жалкие софизмы каждому честному человеку покажутся достойными презрения. Лопухов мог бы пойти по первой дороге только в том случае, если бы надеялся удержать за собою нежность своей жены; есть действительно такие люди, которые надеются до последней минуты и поддерживают в себе эту надежду всякими правдами и неправдами, потому что у них недостаёт мужества взглянуть в лицо неприятной действительности; вследствие этого действительность всегда захватывает их врасплох, и события играют ими, как пешками; если Лопухов не принадлежал к породе этих слабодушных оптимистов, то, мне кажется, это делает честь тонкости его ума и силе его характера. А если он не был оптимистом, то ему оставалось только ехать к Кирсанову. Он едет к нему на другой день после приведённой мною последней сцены с женою. Чтобы сделать такой решительный шаг, даже очень крепкому человеку необходимо сбрать всю свою энергию; энергия Лопухова была возбуждена до крайних пределов тою радостью, которую причинил ему ласковый упрёк Веры Павловны; процесс мысли был у него таков: когда мне так безусловно доверяют, надо действительно вполне оправдывать это доверие, и вот, находясь под свежим впечатлением обаятельного упрёка, Лопухов начинает действовать. Кирсанов при первых, совершенно невинных словах своего друга вспыхивает и обнаруживает самое лютое негодование; но Лопухов не только не унимается, а, напротив того, укрощает яростного Кирсанова и заставляет его посту-

пать так, как он, Лопухов, того хочет. Эта цель достигается, конечно, не посредством аргументации, а посредством следующего простого и невинного предположения: положим, говорит Лопухов, что существует три человека, — предположение, не заключающее в себе ничего невозможного; — предположим, что у одного из них есть тайна, которую он желал бы скрыть и от второго, и в особенности от третьего; предположим, что второй угадывает эту тайну первого и говорит ему: «делай то, о чём я прошу тебя, или я открою твою тайну третьему. Как ты думаешь об этом случае?» На аргументы Кирсанов не сдавался, но при этом предположении он кладёт оружие.— «Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрий,— говорит он.— Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но, в свою очередь, я налагаю на тебя одно условие. Я буду бывать у вас; но если я отправлюсь из твоего дома не один, то ты обязан сопровождать меня повсюду; и чтоб я не имел надобности звать тебя, сlyшишь? сам ты без моего зова. Без тебя я никуда ни шагу — ни в оперу, ни к кому из знакомых, никуда». Лопухов понимает, что Кирсанов хочет непременно сблизить его с женою, и свидание невольных соперников по любви кончается тем, что они в первый раз в жизни обнимаются и целуются.

VII

Длинна моя статья, и много в ней цитат, и совестно мне утомлять читателя, а всё-таки я не решаюсь рассказать конец взятого мною эпизода в коротких словах и не могу отказать себе в удовольствии привести ещё несколько выписок. Такой роман, как «Что делать?», составляет небывалое явление в нашей литературе; поневоле приходится писать о нём и критическую статью небывалых размеров. Как, например, пересказать читателю ту сцену, в которой Вера Павловна объявляет Лопухову, что любит Кирсанова? Как передать ту удивительную теплоту и нежность чувства, которую обнаруживает при этом случае суровый человек нового типа, человек, закиданный со всех сторон бессмысленными обвинениями в чёрствости сердца и в узкой рассудочности? Тут дело идёт не о романе, даже не о г. Чернышевском; тут надо отстоять от тупой или злонамеренной клеветы тот тип людей, который один может освежить жалкую рутину нашей бессмысленной жизни.

«...проговорила: «Милый мой, я люблю его!» и зарыдала.

— Что ж такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе?

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай итти времени, и увидишь, что можешь и чего не

можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена, как же ты можешь обидеть меня? — Он гладил её волосы, целовал её голову, пожимал её руку. Она долго не могла остановиться от судорожных рыданий, но постепенно успокоилась. А он уже давно был приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно, а впрочем, ведь ей не видно было его лица.

— Я не хочу с ним видеться, я скажу ему, чтобы он перестал бывать у нас, — говорила Вера Павловна.

— Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмёшь... — Каждое из этих слов говорилось после долгого промежутка, а промежутки были наполнены тем, что он гладил её волосы, ласкал её, как брат огорчённую сестру. — Помнишь, мой друг, что ты мне сказала, когда мы стали жених и невеста? «Ты выпускаешь меня на волю». — Опять молчание и ласки. — Помнишь, как мы с тобой говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы делать исё, что нужно, чтобы ему было лучше, так! — Опять молчание и ласки. — Что тебе лучше, то и меня радует. Но ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем же огорчаться? Если с тобою нет беды, какая беда может быть со мною?»

Я не хочу оскорблять читателя; я не хочу доказывать ему, что выписанная мною сцена дышит жизнью и правдою и что каждый умный и честный человек, поставленный в положение Лопухова, будет держать себя точно таким же образом; я не хочу доказывать ему, что в этой сцене нет ни капли идеализации и что нежность и мягкость чувства составляют естественную принадлежность неиспорченной человеческой природы. Всё это читатель должен сам передумать и перечувствовать при чтении превосходных строк романа. А кто до этого не додумается и не дочувствуется, тому я объяснять не намерен. С таким читателем рассуждать серьёзно не следует. На той дороге, по которой идёт Лопухов, нет возможности остановиться или повернуть назад. Когда, при его сопротивлении, развилось и созрело чувство Веры Павловны к Кирсанову, ему, конечно, оставалось только содействовать этому чувству и до конца устранивать все встречающиеся препятствия. Этого требовала от него самая простая логика, выразившаяся в известной пословице: «взявшись за гуж, не гори, что не дюж». Пока он не брался за гуж, пока он не вмешивался в поступки Кирсанова, до тех пор он мог выбирать тот или другой образ действий, и если бы он решился

оставаться нейтральным вместо того, чтобы поступать активно, то мы могли бы только порицать его за ошибочность расчёта, но не имели бы права относиться с презрением к его личности. Мы переменили бы к худшему наше мнение об уме Лопухова, но все нравственные достоинства, способные ужиться с дюжинным умом, остались бы при нём в полной неприкосновенности. После разговора своего с Кирсановым Лопухов перешёл через Рубикон¹⁹⁰; он взял в свои руки счастье двух людей, и если бы после этого он оплошал в каком-нибудь отношении, то эта оплошность была бы грязною изменою, позорным банкротством в нравственном отношении. Может быть, это банкротство было бы не злостное, а только неосторожное, но это не оправдывало бы Лопухова. Кто позволяет себе быть неосторожным на чужой счёт, тот не может считать себя честным человеком. Кто не испытывал своих сил, кто не может на себя положиться, тот не имеет никакого права вмешиваться в судьбу другого лица.

Всё это я говорю, чтобы доказать читателю, что в образе действий Лопухова не было таких проявлений героизма, которые возвышались бы над уровнем простой честности, обязательной для каждого порядочного человека. Лопухов только развил в своих поступках тот ряд последствий, который совершенно логично и неизбежно вытекает из его первого решения, а логичность и последовательность поступков составляет, конечно, прямую и неотразимую обязанность каждого человека, способного распоряжаться своим головным мозгом. Я очень хорошо знаю, что большинство современных людей, считающих себя вполне порядочными, противоречат себе на каждом шагу в словах и в поступках. Человек, избегающий слишком явных противоречий самому себе, провозглашается в настоящее время чуть-чуть не гением по уму и уж во всяком случае героем по характеру. Но это доказывает только, что у современных людей способность размышлять находится почти в совершенном бездействии. Головной мозг считается бесполезнейшою частью человеческого тела. Он расгёт и развивается по неизменным законам природы точно так, как растёт и развивается на меже полынь и чернобыльник; на него льют и кидают всякие нечистоты; никто не обращает внимания на то, что ему вредно или полезно, и потому, конечно, он чахнет и искажается, так что здоровый и сильный мозг считается редким исключением и внушает к себе глубочайшее уважение. Хороша последовательность! Сначала дело ведётся так, как будто бы надо было нарочно извратить все человеческие умы, а потом начинается благование перед теми немногими умами, которые по како-

му-нибудь слушаю не успели извратиться. До сих пор люди всегда относились к массе своей породы с глубоким презрением и всегда были расположены ползать на коленях перед счастливыми исключениями, которые только потому были и остаются редкими исключениями, что масса не знала и не знает себе цены и безрассудно пренебрегала и пренебрегает своими естественными богатствами. Такие люди, как Лопухов, в настоящее время редки, но такие люди несколько не выше обыкновенного человеческого роста. Каждый человек, не родившийся идиотом, может развить в себе мыслительную способность, может укрепить её полезным трудом, может возвыситься до правильного и ясного понимания своих отношений к людям, и когда это будет исполнено, поступки Лопухова будут казаться ему совершенно простыми и естественными, и он будет спрашивать с искренним недоумением: да разве же можно было поступить иначе? Действительно, иначе поступить нельзя; кто в положении Лопухова сделает меньше, чем сделал Лопухов, тот перестанет быть честным человеком, а удержать за собою достоинство честного человека не значит ещё совершить геройский подвиг.

Когда Лопухов заметил, что Вера Павловна худеет и бледнеет от напрасных усилий преодолеть своё чувство, он мягко и осторожно предложил ей отказаться от тяжёлой борьбы; Вера Павловна разгневалась на него за это предложение, но потом через несколько времени объявила ему, что борьба становится для неё действительно невыносимою; Лопухов почувствовал, что его присутствие может сделаться мучительным для Веры Павловны; он уехал на несколько недель; на его месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же, потому что порядочному человеку чрезвычайно неприятно мучить своим присутствием кого бы то ни было. Возвратившись из своей непродолжительной отлучки, Лопухов увидел, что ему лучше было бы совсем не возвращаться; он понял — и понять было вовсе не трудно, — что его присутствие и даже его существование ставят между Кирсановым и Верою Павловной такую преграду, через которую, конечно, перешагнуть не очень трудно, но которую гораздо приятнее было бы совершенно устраниТЬ. Пока Лопухов перед обществом и перед законом сохраняет в отношении Веры Павловны права мужа, до тех пор Кирсанов и Вера Павловна принуждены даже перед ближайшими знакомыми играть нелепейшую комедию, которая только утомляет актеров, не обманывая решительно никого. Самому Лопухову также предстоит мало удовольствия. В этой нелепейшей комедии ему приходится играть неблагодарную роль щита, подставного мужа и подставного

отца. Самый узкий эгоист, в том смысле, как это слово понимается самыми отсталыми рутинёрами, — самый узкий эгоист, говорю я, поставленный на место Лопухова, пожелал бы ради своего личного комфорта развязаться с супружескими правами, потерявшими всякое практическое значение. А развязаться можно или разводом, или смертью; но развод невозможен, потому что дело это затруднительно и хлопотливо, и сопряжено с неприятною огласкою; стало быть, остаётся смерть; но, во-первых, всякому порядочному человеку жизнь так дорога, что он решится разбить её только в случае самой крайней необходимости; во-вторых, самоубийство Лопухова было бы жестоким поступком в отношении к Кирсанову и к Вере Павловне; эта смерть отравила бы всё их счастье и оставалась бы для них на всю жизнь кровавым упрёком. Конечно, они тут ни в чём не были бы виноваты; но бывают такие происшествия, которые, поразив воображение людей, навсегда оставляют по себе болезненное воспоминание, похожее на упрёк, и этого воспоминания не вытравит потом самый острый анализ. Очевидно, следовательно, что Лопухову всего расчётливее было бы поступить как-нибудь так, чтобы без ущерба для себя устранить препятствие, которое личность его представляла счастию других, и он решился умереть в глазах закона, ожить за границею под другим именем и объяснить потом Кирсанову и Вере Павловне, в каком смысле следует понимать его самоубийство.

Затруднительная задача разрешена, но разрешил её не один Лопухов; ему принадлежала главная роль, но эту роль было бы невозможно выдержать до конца, если бы Вера Павловна и Кирсанов не были людьми нового типа. Чувства, мысли и, следовательно, поступки Лопухова были бы далеко не так просты, спокойны, последовательны и человечны, если бы он не имел возможности во всякую данную минуту уважать свою жену и своего друга. Если бы Вера Павловна не была безукоризненно честна в отношении к своему мужу, то у Лопухова не было бы постоянного и горячего желания купить для неё счастье какою бы то ни было ценой. Если бы Лопухов не был уверен, что его жена полюбила Кирсанова серьёзно и прочною любовью, то ему было бы невозможно и с его стороны было бы нерассудительно действовать с такою энергией. Стоит ли в самом деле поднимать тревогу ради того, чтобы удовлетворить половому капризу взбалмошной женщины, у которой через неделю может явиться новый каприз? Если бы Кирсанов не заслуживал полного доверия, то со стороны Лопухова было бы нелепо и бессовестно бросить к нему на шею свою жену. Если бы вообще эти три человека не были

и состоянии во всякую минуту смело глядеть друг другу в глаза, доверчиво советоваться между собою о своём общем деле и полюбовно разрешать это дело общими силами, то между ними непременно появились бы те недоброжелательные чувства, которые называются в общежитии антипатией, боязнью, подозрением, ревностью и которые все вытекают из недостатка доверия и уважения. Поэтому переложить историю Лопухова на те нравы, которыми удовлетворяется почти всё наше современное общество, нет никакой возможности. Тот ряд поступков, который был со стороны Лопухова совершенно логичен и необходим в отношении к таким людям, как Вера Павловна и Кирсанов, становится нелепым и смешным, если мы на место Веры Павловны поставим пустую барыню с чувствительным сердцем, а на место Кирсанова столь же пустого вздыхателя с пламенными страстями. Лопухов не стал бы поступать нелепо и смешно. Он вовсе не похож на Дон-Кихота и всегда сумеет понять, что ветряная мельница — не исполин и что бараны — не рыцари. Новые люди только в отношениях между собою развёртывают все силы своего характера и все способности своего ума; с людьми старого типа они держатся постоянно в оборонительном положении, потому что знают, как всякий честный поступок в испорченном обществе переволковывается, искажается и превращается в пошлость, ведущую за собою вредные последствия. Только в чистой среде развёртываются чистые чувства и живые идеи; давно уже было сказано, что не следует зливать вино новое в меки старые, и эта мысль так же верна теперь, как была верна две тысячи лет тому назад. Весь образ действий Лопухова, начиная с его поездки к Кирсанову и кончая его подложным самоубийством, находит себе блестящее оправдание в том полном и разумном счаствии, которое он создал для Веры Павловны и для Кирсанова. Любовь, как понимают её люди нового типа, стоит того, чтобы для её удовлетворения опрокидывались всякие препятствия.

« — Верочка, — говорит Кирсанов своей жене через несколько лет после свадьбы: — что? хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? Мы — один человек; но это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль стала много сильнее. Когда я делаю выводы из наблюдений — общий обзор фактов, то я теперь в час кончую то, над чем прежде должен был думать несколько часов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, чем прежде, и выводы у меня выходят и шире и полнее. Если бы, Верочка, во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением. Если бы от природы была во мне

сила создать что-нибудь маленькое новое в науке, я от этого чувства приобрёл бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочим, тёмным, мелким тружеником, который разрабатывает мелкие, частные вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь ты знаешь, я уже не то: от меня начинают ждать больше, думают, что я переработаю целую большую отрасль науки, всё учение об отправлениях нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В 24 года у человека шире и смелей новизна взглядов, чем в 29 лет (потом говорится: в 30 лет, 32 года и так далее); но тогда у меня не было этого в таком размере, как теперь. И я чувствую, что я всё ещё расту, когда без тебя я давно бы уже перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы стали жить вместе. Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу итти гораздо дальше того, на чём я остановился бы, на чём я уже и остановился было без тебя. А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное возбуждение сил вносится в труд. Когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина: то, что дают они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерное этому внешнему и мимолётному возбуждению, то имею я теперь постоянно в себе, — мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо».

Надо стоять на довольно высокой степени развития не только для того, чтобы испытывать подобное чувство, а даже для того, чтобы понимать его возможность и верить в его действительное существование. Наша рутинная критика, конечно, не возвысится до этого понимания. Обвиняя г. Чернышевского в цинизме, она, кроме того, обвиняет его в идеализации и, таким образом, по свойственному ей остроумию, впадает в неразрешимое противоречие. Если г. Чернышевский — циник и если цинизм ставится ему в порок, то это значит, что он слишком мрачно смотрит на жизнь и оскорбляет таким взглядом человеческое достоинство. Если же он повинен в идеализации, значит, он слишком светло смотрит на жизнь и не замечает недостатков человека. Но нельзя же приписывать одному предмету два противоположные свойства. Нельзя же обвинять писателя в двух пороках, которые взаимно исключают друг друга. Что-нибудь одно: или циник, или идеализатор. А если он и циник и идеализатор, то это значит, что он ни циник, ни идеализатор, а просто человек, глубоко уважающий человеческую природу и превосходно понимающий неисчерпаемое богатство её физических и умственных сил. Когда этот человек говорит о том, что унижает и искажает человеческую природу, он приходит в негодование..

и тогда его обвиняют в цинизме те люди, которые слишком близоруки и испорчены, чтобы замечать унижение и искажение. Когда этот человек говорит о тех редких явлениях, в которых выражается чистота и сила человеческой природы, в его голосе слышится радость и надежда, и тогда его обвиняют в идеализации те люди, которые, считая грязь за норму, видят в нормальных явлениях создание праздной фантазии. Что можно сказать этим обвинителям? Им можно сказать только, что они слепы и потому не понимают ни того, что стоит ~~в~~ ^{уровень} с ними, ни того, что стоит выше их.

В подтверждение моих слов о так называемом цинизме г. Чернышевского, я приведу здесь самое резкое место его романа. «Сторешников» (первый жених Веры Павловны) уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звании любовницы, — ну, пусть осуществляет в звании жены; это всё равно, главное дело не звание, а позы, то-есть обладание. О грязь, о грязь! «обладать» — кто смеет обладать человеческим? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сёстры; опять пустяки, какие вы нам сёстры? — вы наши лакейки! Иные из вас — многие — господствуют над нами, — это ничего: ведь и многие лакеи властствуют над своими барами». Очень резко, не правда ли? Но разве может быть иначе? Человек, понимающий любовь Кирсанова, может относиться мягко и снисходительно к любовным грёзам Сторешникова только в том случае, если он допустит предположение, что Кирсанов и Сторешников — животные различных пород. А если он этого предположения не допустит, то ему, разумеется, будет обидно и досадно видеть поругание человеческой святыни, которая точно так же заключается в Сторешникове, как и в Кирсанове. А если обличители г. Чернышевского скажут, что Кирсановых совсем не бывает, то мы скажем на это: поживём, увидим. Будущее покажет нам, действительно ли существует новый тип или его выдумали только в пику солидным людям негодные нигилисты.

VIII

Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна, являющиеся в романе «Что делать?» главными представителями нового типа, не делают ничего такого, что превышало бы обыкновенные человеческие силы. — Они — люди обыкновенные, и такими людьми признаёт их сам автор; это обстоятельство чрезвычайно важно, и оно придаёт всему роману особенно глубокое значение. Если бы автор показал нам героев, одарённых от природы колос-

сальными силами, и если бы даже повествовательный талант его заставил нас поверить в существование таких героев, то всё-таки их мысли, чувства и поступки не имели бы общечеловеческого интереса, и каждый читатель имел бы право сказать, что он не герой и что ему за редкими исключениями нечего и гоняться. Человеческая природа вообще осталась бы попрежнему под гнётом тех несправедливых и нелепых обвинений, которые набросала на неё вековая рутина прошедшего, победоносно отстаивающая своё существование и доказывающая свою законность в настоящем. Конечно, этот гнёт обвинений и предрассудков не снят с человеческой природы романом г. Чернышевского; никакое литературное произведение, как бы оно ни было глубоко задумано, не может выполнить такую задачу, которой разрешение связано с радикальным изменением всех основных условий жизни; но чрезвычайно важно уже то, что роман «Что делать?» является в этом отношении блестящей попыткой; этим романом г. Чернышевский говорит всем самодовольным филистёрам, что они клевещут на человеческую природу, что они свою искусственную заботливость и ограниченность принимают за нормальное явление, освящённое естественными законами, что они ставят чрезвычайно низко уровень своих умственных и нравственных требований, что они своим тупым или корыстным самодовольствием наносят всему человечеству значительный вред и тяжёлое оскорблечение.

Указывая на Лопухова, Кирсанова и Веру Павловну, Чернышевский говорит всем своим читателям: вот какими могут быть обыкновенные люди, и такими они должны быть, если хотят найти в жизни много счастья и наслаждения. Этим смыслом проникнут весь его роман, и доказательства, которыми он подкрепляет эту главную мысль, так неотразимо убедительны, что непременно должны подействовать на ту часть публики, которая вообще способна выслушивать и понимать какие-нибудь доказательства. «Будущее, — говорит г. Чернышевский, — светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в неё из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее всё, что можете перенести. Это светлое будущее, в которое так горячо верят лучшие люди, придёт не для одних героев, не для тех только исключительных натур, которые одарены колоссальными силами; это будущее сделается настоящим именно тогда, когда все обыкновенные

люди действительно почувствуют себя людьми и действительно начнут уважать своё человеческое достоинство. Кто старается пробудить уважение обычновенных людей к их природе, возвысить уровень их требований, возбудить в них доверие к собственным силам и внушить им надежду на успех, тот посвящает свои силы великому и прекрасному делу разумной любви; в такой деятельности выражается живое стремление к будущему, потому что светлое будущее может быть достигнуто только тогда, когда много единичных сил будет потрачено на такую деятельность. Роман г. Чернышевского действует именно в этом направлении, между тем как вся остальная масса нашей беллетристики сама ходит ощупью и не действует ни в каком направлении.

Желая убедительнее доказать своим читателям, что Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна действительно люди обычные, г. Чернышевский выводит на сцену титаническую фигуру Рахметова, которого он сам признаёт необыкновенным и называет «особенным человеком». Рахметов в действии романа не участвует, да ему в нём нечего и делать; такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своём месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука, ни семейное счастье; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя всё, что могут отдать. При известных условиях развития эти люди обращаются в миссионеров и отправляются проповедывать евангелие дикарям различных частей света. При других условиях они успевают убедиться, что в образованнейших странах Европы есть такие дикари, которые глубиною своего невежества и тягостью своих страданий далеко превосходят готтентотов или папуасов. Тогда они остаются на родине и работают над тем, что их окружает. Как они работают и что выходит из их работ, — это объяснить довольно трудно, потому что работы их начались очень недавно, всего лет пятьдесят или семьдесят тому назад, и потому что окончательный результат этих работ, передающихся от одного поколения деятелей к другому, лежит ещё далеко впереди. Видят они, что настояще дурно, стараются, чтобы будущее было лучше, и прилагают к делу те средства, которые находятся под руками. Их не понимают, им мешают делать добро, и от этого их мирная работа принимает совершенно несвойственный ей характер ожесточения и борьбы. Им чаще всего приходится брать в руки школьную указку и объяснять взрослым детям и цивили-

зованным дикарям азбуку правильного понимания самых простых вещей. Эти люди, способные по уму и характеру обдумывать и разрешать на практике самые сложные задачи современной истории, обыкновенно бывают принуждены возиться с самою мелкою чёрною работою в течение всей своей жизни, и они не отворачиваются от чёрной работы, потому что главная потребность всего их существа состоит в том, чтобы делать что-нибудь для облегчения человеческого горя. Нельзя сделать всё, так они будут делать, что можно. На своё место, на котором они могли бы развернуть все свои способности, эти люди попадают чрезвычайно редко и всегда какими-нибудь эксцентрическими путями. Правильной карьеры эти люди не сделали себе с самого сотворения мира. Природа всегда отказывает им в канцелярской сметливости и во всяких других служебных дарованиях. Поэтому какой-нибудь Роберт Пиль мог быть первым министром Англии и прослыть благодетелем своего народа, а другой Роберт, только не Пиль, а Оуэн, должен был непременно во время всей своей жизни терпеть притеснения от тупых мещан, а под старость прослыть помешанным. Поэтому граф Кавур мог считаться ангелом хранителем Италии и возбудить своей смертью нескончаемые вопли в европейских журналах, поющих в голос Times'a, а Иосиф Гарибальди непременно должен был получить сначала рану при Аспромонте, а потом, вслед за раною, амнистию, которая была бы обиднее всякой раны, если бы прежде всего не была бы смешна до последней степени. Гарибальди и Оуэн всё-таки выдвинулись из неизвестности, и деятельность их получила себе широкий простор; но первый из них мог выдвинуться потому, что для Италии наступило время политического обновления, а второй потому, что Англия при всех недостатках своего общественного устройства обеспечивает за своими гражданами значительную свободу действий. На одного выдвинувшегося Оуэна или Гарибальди приходится, наверное, по несколько необыкновенных людей, которым на всю жизнь суждено оставаться полезными чернорабочими в деле служения человечеству.

К числу этих необыкновенных людей, обречённых на неизвестность, относится Рахметов. В то время, когда г. Чернышевский вводит его на короткое время в свой роман, ему 22 года. Он — потомок старинного рода и сын богатого помещика. Рахметов с 16 лет был студентом и на половине 17-го года проникнулся теми идеями, которые дали определённое направление всем богатым силам его молодой и любящей природы. Кирсанов, познакомившись с ним, отвечал на его тревожные вопросы и указал ему на некоторые книги. «Жадно

слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывая его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить. Потом начал читать и читал, не отрываясь от книги, с 11 часов утра четверга до 9 часов вечера воскресенья; первые две ночи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе, до четвёртой ночи нехватило сил ни с каким кофе, он повалился и спал на полу часов 15». Через год после этого он оставил университет, «поехал в поместье, распорядился, победив сопротивление опекуна, заслужив анафему от братьев и достигнув того, что мужья запретили его сёстрам именословить его имя, потом скитался по России разными манерами, и сухим путём, и водою, и пешком, и на расшивах, и на косных лодках». С земли, оставшейся у него после распоряжения по имени, он получал 3 000 руб. дохода, но себе из этих денег брал только 400 рублей, а на остальные содержал семь человек стипендиях, двоих в казанском университете и пятерых в московском. На половине 17-го года Рахметов начал развивать в себе физическую силу, занимался гимнастикой, возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо и при этом кормил себя почти исключительно полусырою говядиной. Наконец, во время странствий своих по России, он прошёл бурлаком всю Волгу, от Дубровки до Рыбинска, и за свою непомерную силу получил от своих товарищей по лямке прозвище Никитушки Домова, по имени одного силача, ходившего по Волге лет 20 тому назад и пользовавшегося между народом значительной известностью. Свою приобретённую силу Рахметов поддерживал, не щадя ни труда, ни времени; «так нужно, говорил: это даёт уважение и любовь простых людей, это полезно, может пригодиться». Во всём своём образе жизни Рахметов соблюдал крайнюю умеренность. «По целым неделям у него не бывало во рту куска сахара, по целым месяцам никакого фрукта, ни куска телятины, ни пульярки». Обедая в гостях, он с удовольствием ел некоторые блюда, которых не позволял себе есть дома, но были такие кушанья, от которых он навсегда отказался. «Причина различия была основательна: «то, что ест, хотя по временам, простой народ, и я могу есть при случае. Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть. Это нужно мне для того, чтобы хотя несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моей». — Он сказал себе: «я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине», и объяснял следующим образом причину этого отречения: «так нужно». «Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, мы должны своей жизнью свидетельство-

вать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страсти, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности».

Это рассуждение Рахметова в логическом отношении никак не годится. Если я доказываю, что людям необходимо полное наслаждение жизнью, то мне нет никакой надобности подрывать свои доказательства примером собственной жизни. Принимать самого себя за исключение и ставить себя выше человеческих потребностей и вне общих физиологических законов, во всяком случае, нерационально. Проповедуя против монашества, монах Лютер сам женился на монашенке, и его пример был самым убедительным подкреплением его проповеди. Вообще жизнь и учение человека должны всегда находиться в возможно полном согласии: аскет, проповедующий наслаждение жизнью, в своём роде явление такое же нелепое и безобразное, каким были средневековые папы, которые, пьяниствуя, роскошничая и развратничая, проповедывали пост, нищету и истязание. Людям мешают наслаждаться или собственные их предрассудки, или внешние обстоятельства. Чтобы побеждать предрассудки, надо действовать убеждением и примером, стало быть, для борьбы с предрассудками личный аскетизм Рахметова может быть только вредным. Внешним же обстоятельствам, очевидно, нет никакого дела до личных страстей и до принципов Рахметова; было бы наизнаду думать, что внешние обстоятельства проникнутся уважением к личному бескорыстию проповедника и, убедившись в собственной непригодности, стыдливо отойдут в сторону. Внешние обстоятельства как слепые, стихийные силы не поддаются ни на какие убеждения, как бы ни была высока и чиста личность убеждающего мыслителя. Впрочем, самый факт рахметовского аскетизма нисколько не представляется мне невозможным или сомнительным. Бывают натуры, в которых любовь к людям, сохраняя всю пылкость чувства, принимает непреклонность доктора, управляющего всеми мыслями и поступками человека. Чем меньше силы такого человека могут быть приложены к внешней плодотворной деятельности, тем больше эти силы обращаются внутрь на самого деятеля, которого они тиранят без малейшей пощады и без всякой пользы. У деятеля сердце обливается кровью оттого, что он почти ничего не может сделать для облегчения общих страданий, и он на самого себя изливает свою законную досаду. «А, говорит он себе, ты не можешь им помочь, не можешь? — так вот же тебе! не помогаешь другим, так страдай же сам вместе с ними, страдай больше их!» И, действительно, наваливает он на себя гру-

ду ненужных тягостей и стеснений. Рахметов отказывается от какого-нибудь кушанья, чтобы чувствовать, насколько жизнь простых людей стеснена сравнительно с его жизнью. Но кто ж этому поверит? Какой человек, знающий Рахметова, может подумать, что Рахметов когда-нибудь, во сне или на яву, забывает о нуждах и стеснениях простых людей? А если он никогда не забывает, то зачем же ему напоминать себе о них ненужными лишениями? Причина одна — общая таким натурам потребность взимать на себя грехи мира, бичевать и распинать себя за все людские глупости и подлости.

Объяснить эту потребность я не умею, потому что её испытывают и понимают только исключительные натуры; но сомневаться в действительном существовании этой потребности значило бы отрицать множество достовернейших исторических явлений. В общем движении событий бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко и проходят быстро, так что их надо ловить на лету, и ими надо пользоваться как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв или, по крайней мере, полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за неё бывают готовы идти в огонь и в воду; эти минуты редки, потому что массы вообще понимают туго и самыми ясными идеями проникаются чрезвычайно медленно; эти минуты коротки, потому что энтузиазм вообще испаряется скоро, как у отдельных людей, так и у целых народов; только в эти минуты массы способны сделать что-нибудь умное и хорошее; поэтому такими минутами надо пользоваться. Те Рахметовы, которым удаётся увидеть в своём веку такую минуту, развёртывают при этом случае всю сумму своих колоссальных сил; они несут вперёд знамя своей эпохи и уже, конечно, никто не может поднять это знамя так высоко и нести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою родных и друзей, и все личные привязанности, и все личные радости человеческой жизни. В эти минуты Рахметовы выпрямляются во весь рост и этот колоссальный рост как раз соответствует величию событий; если бы в эти минуты могли выступить из толпы десятки новых Рахметовых, то все они нашли бы себе работу по силам; но их вообще мало, и, по недостатку в таких людях, все великие минуты в истории человечества до сих пор обманывали общие ожидания, приводили за собою горькое разочарование и сменялись векою апатиию. В обыкновенное время, когда господствует невозмутимая рутина, когда тянутся скучные и томительные длинные исторические антракты, силам Рахметова нет прило-

жения; эти силы давят и гнетут своих обладателей, и те мелкие дела, к которым они прикладываются, только разжигают в этих людях стремление к полезной деятельности, не доставляя этому страстному стремлению ни малейшего удовлетворения. Вот чем занимается наш Рахметов: «гимнастика, работа для упражнения силы, чтение — были личными занятиями Рахметова; но по его возвращении в Петербург они брали у него только четвёртую долю его времени; остальное время он занимался чужими делами или ничьими в особенности. Постоянно соблюдая то же правило, как и в чтении: не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди». Эта деятельность была, может быть, очень обширна и важна по своим результатам, но что она не удовлетворяла Рахметова, это всего убедительнее доказывается всей его системой ригоризма, которая придумана без малейшей необходимости. Отдельные случаи, в которых проявляется его ригоризм, могли бы быть устраниены без малейшего ущерба для его любимого дела. Он встречается с молодою вдовою, которая влюбляется в него; он также чувствует к ней симпатию; между ними происходит объяснение, вызванное ею, в котором он говорит: «Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своею». — «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться. Но пока вам придётся бросить меня, до тех пор любите меня». — «Нет, этого я не могу принять, — сказал он, — я должен подавить в себе любовь; любовь к вам связала бы мне руки, они и так не скоро развязутся у меня, уж связаны. Но развязу. Я не должен любить».

Это уже ни с чем не сообразно или, вернее, сообразно только с непреодолимою потребностью самобичевания; такие исторические деятели, которые каждый день рисковали головою, не отказывали себе в любви и не находили, чтобы любовь в каком-нибудь отношении связывала им руки. Даже те люди, которых наш русский Тацит, Смарагдов, давно заклеймил за служенным названием чудовищ и злодеев, даже они (по свойственному мне целомудрию я не называю их по имени), даже они были люди женатые, или, ещё того лучше, имели невест и мечтали об идиллиях, которым, конечно, никогда не суждено было осуществиться. И руки у них — ничего, не были связаны.

Потребность обижать себя доходит у Рахметова до того, что он буквально тиранит своё тело под тем предлогом, что ему надо испытать, как велика его способность переносить физическую боль. «Спина и бока всего белья Рахметова (он был

в одном белье) были облиты кровью. Под кроватью была кровь; войлок на котором он спал, также в крови; в войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляпками с исподи, остриями вверх они высывались из войлока чуть не на полвершка; Рахметов лежал на них всю ночь. — Что это такое, помилуйте, Рахметов? — с ужасом проговорил Кирсанов. — «Проба. Нужно, неправдоподобно, конечно; однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу». Ну, а если бы он увидел, что не может, разве он переменил бы что-нибудь в своём образе жизни, в своей деятельности? Разумеется, нет. Скорее умер бы, чем переменил. Стало быть, какая же это проба? Очевидно, что все подобные выдумки происходят от избытка сил, не находящих себе достаточно широкого и полезного приложения.

Попытку г. Чернышевского представить читателям «особенного человека» можно назвать очень удачной. До него брался за это дело один Тургенев, но и то совершенно безуспешно. Тургенев хотел из Инсарова сделать человека, страстно преданного великой идее; но Инсаров, как известно, остался какою-то бледной выдумкою. Инсаров является героем романа; Рахметов даже не может быть назван действующим лицом, и, несмотря на то, Инсаров остаётся для нас совершенно неосязательным, между тем как Рахметов совершенно понятен, даже по тем немногим вытискам, которые приведены в моей статье. Правда, мы не видим, что именно делает Рахметов, как не видели того, что делает Инсаров, но зато мы вполне понимаем, что за человек Рахметов, а, рассматривая Инсарова, мы только до некоторой степени можем догадаться о том, каковы были намерения и желания автора. Я говорю это совсем не с той целью, чтобы сравнивать Тургенева с г. Чернышевским и отдавать преимущество тому или другому из них. Я хочу только выразить ту мысль, что никакой художественный талант не может пополнить недостатка материалов; г. Тургенев не видел в нашей жизни ни одного живого явления, соответствующего тем идеям, из которых построена фигура Инсарова; г. Чернышевский видел, напротив того, много таких явлений, которые очень вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову. Если бы таких явлений не было, то фигура Рахметова была бы очень бледна, как фигура Инсарова. А если эти явления действительно существуют, то, может быть, светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать. Где появляются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и пробуждают живые надежды.

ПРИМЕЧАНИЯ

«ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА» (Стр. 33—57)

Впервые напечатано в журнале «Русское слово», в апрельской книге 1861 г. Печатается здесь по тексту первого издания Сочинений Д. И. Писарева, ч. IX, 1868, стр. 55—77.

¹ Целлер Эдуард (1814—1906) — немецкий философ-идеалист, автор работ «Platonische Studien» и «Die Philosophie der Griechen».

² Клеванов Александр — переводчик древних классиков, автор компилятивных работ «Философские беседы Платона» и «Сочинения Ю. Цезаря».

³ Баярд (1476—1524) — французский рыцарь, за свою храбрость, прямоту, великодушие и отвращение к вероломству прозванный «рыцарем без страха и упрёка».

⁴ Генрих IV (1553—1610) — французский король, стремившийся поднять экономический уровень страны, сильно пострадавшей в результате продолжительной и упорной борьбы между католиками и протестантами (гугенотами). Буржуазная историография усердно идеализировала Генриха IV и даже распространяла легенду о том, что он якобы высказывал пожелание, чтобы у каждого французского крестьянина была по воскресным дням курица к обеду.

⁵ Элеаты — философская школа, возникшая в городе Эле, в южной Италии, в VI—V веках до н. э. Представители этой школы Парменид и Зенон развивали учение о единстве, однородности и неизменности истинного бытия, предвосхищая до некоторой степени установленный впоследствии наукой закон о сохранении материи и энергии. Гераклит (ок. 530 — ок. 470 до н. э.) — древнегреческий философ, один из ранних представителей диалектической философии, учивший, что всё существующее, несмотря на видимое многообразие, едино и что жизнь является непрерывной цепью изменений и смены борющихся между собой противоположностей. Демокрит (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист. Пифагор (VI век до н. э.) — древнегреческий философ и математик. Анаксагор (V век до н. э.) — древнегреческий философ, признававший, что мир произошёл не по велению божества, а путём естественного соединения и разъединения первичных элементов.

⁶ Римского поэта Горация (65—08 до н. э.) Писарев называет «фенебельным», потому что он был придворным поэтом императора Августа и воспевал наслаждение, доставляемое спокойной, обеспеченной, не знакомой с трудом, заботами и лишениями жизнью.

⁷ **Маколей** Томас-Бобингтон (1800—1859) — английский историк и политический деятель либерального направления. Его «История Англии от восшествия на престол Иакова II» и другие сочинения славились не столько исторической объективностью, сколько своими художественными достоинствами; в начале 1860-х годов они были переведены на русский язык.

⁸ **Алкивиад** (451—404) — афинский политический деятель и полководец, боровшийся против Спарты, а затем перешедший сперва на её сторону, а затем к персам. Под конец жизни вернулся на родину в Афины, но был обвинён в измене и бежал в Персию, где и был убит. **Критий** — один из 30 афинских тиранов V века до н. э.; убит в 403 г.

⁹ Говоря о «*Камне*», Писарев, повидимому, имеет в виду «Камень веры», написанный церковным деятелем эпохи Петра I Стефаном Яворским и являвшийся систематическим изложением православного вероучения. Сочинение это носило полемический характер и было направлено против лютеран, которых Яворский, будучи противником реформ Петра и заимствований с Запада, ненавидел.

¹⁰ **Сенека** (3 до н. э.—65 н. э.) — римский философ-стоик, заподозренный в заговоре против императора Нерона и покончивший самоубийством. **Тацит** Корнелий (ок. 55—120 н. э.) — римский историк. **Марк Аврелий** (121—180) — римский император.

¹¹ **Новоплатоники** — представители философского направления, сложившегося в III веке н. э. и представлявшего собой «фантастическое сочетание стоического, эпикурейского и скептического учения с содержанием философии Платона и Аристотеля» (Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 122). Новоплатоники различали мир чувственный и сверхчувственный, высшим выражением которого является непознаваемое для человека, таинственное «единое», которого человек может только «коснуться» в состоянии экстаза. Философия новоплатоников оказала большое влияние на христианскую мистику. **Ессеи** — древнееврейская секта, возникшая в Палестине во II веке до н. э. и искавшая в мистике спасения от развращённой городской жизни. Покинув города, ессеи жили замкнутыми общинами, осуществлявшими частично общность имущества, и вели аскетическую жизнь. **Терапевты** — религиозное общество, возникшее во II веке до н. э. в Александрине среди евреев. Подобно ессеям, терапевты проповедывали необходимость воздержания и уединённой жизни. Раздавая имущество и покидая близких, они селились в кельях и сходились друг с другом лишь по праздничным дням для общих молитв.

¹² **Пелопонесская война** происходила в 431—404 гг. до н. э. между аристократической Спартой и демократическими Афинами. Война закончилась победой Спарты.

¹³ **Гумбольдт** Вильгельм (1767—1835) — немецкий филолог и прусский государственный деятель. В названном Писаревым сочинении, которое по цензурным причинам было опубликовано лишь в 1851 г., ограничивал роль государства исключительно заботой о безопасности граждан.

¹⁴ **Ксеркс** (V век до н. э.) — древнеперсидский царь, воевавший с Афинами и жестоко расправившийся с их населением после того, как ему удалось овладеть этим городом. **Калигула** — римский император, царствовавший с 37 по 41 г. н. э., деспот, проявлявший неизвестное сумасбродство. **Домициан** — римский император с 81 по 96 г. н. э.; отличался большой жестокостью; был убит заговорщиками.

¹⁵ **Людовик XI** (1423—1483) — французский король, сильно возвысивший королевскую власть за счёт феодалов, против которых вёл упорную борьбу; отличался подозрительностью и жестокостью. **Тиберий** —

римский император с 14 по 37 г. н. э., преемник Августа; расширил и укрепил границы империи; прославился крайней жестокостью. *Фердинанд Католик* (1452—1516) — первый король объединённой Испании, установивший в стране централизованное бюрократическое управление. Использовал инквизицию в целях укрепления абсолютизма.

¹⁶ *Альбигойцы* — религиозная секта во Франции XI—XIII веков. Покой против альбигойцев начался в 1209 г. под руководством папы Иннокентия III и длился 20 лет. Альбигойские войны привели к полному разорению юга Франции. *Ла Балю* (1421—1491) — кардинал при Людовике XI; по подозрению в приверженности главному противнику Людовика XI герцогу Бургундскому Карлу Смелому был заключён в железную клетку, где находился в течение 10 лет. *Ян Гус* (1369—1415) — чешский национальный деятель и церковный реформатор, боровшийся против гнёта немецких феодалов и католической церкви. Был обвинён в ереси и по постановлению Констанцского собора сожжён на костре. Вскоре после казни Гуса начались гуситские войны — одно из крупнейших крестьянских и национальных движений в Чехии. *Варфоломеевская ночь* — кровавый эпизод из истории религиозно-политической борьбы во Франции между католиками и гугенотами (протестантами); в ночь на 24 августа 1572 г. (под праздник святого Варфоломея) по приказу Карла IX в Париже было убито свыше 30 тысяч гугенотов.

«СХОЛАСТИКА XIX века»

(Стр. 58—77)

Впервые напечатано в журнале «Русское слово» за 1861 г.: первые десять глав — в майской книжке и датированы 12 мая 1861 г.; главы XI—XVII — в сентябрьской книжке и датированы 3 сентября 1861 г. Помещаемые здесь главы VII—X статьи печатаются по тексту первого издания Сочинений Д. И. Писарева, ч. IX, 1868, стр. 95—114.

В журнальном тексте по сравнению с первым изданием имеются пропуски во II, III, IV, V, VI и VII главах. В настоящем издании все изъятия восстановлены по тексту первого и пятого (1905—1909) изданий.

¹⁷ *Гутенберг* Иоганн (ок. 1394—1468) — изобретатель книгопечатания.

¹⁸ *Буало* Николай (1636—1711) — французский поэт и критик. В поэме «Искусство поэзии» изложил эстетические принципы классической школы в литературе. *Батте Шарль* (1713—1780) — французский эстетик классической школы.

¹⁹ «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина начали печататься в 1856 г. в журнале «Русский вестник».

²⁰ *Ахшарумов* Николай Дмитриевич (1819—1893) — беллетрист и литературный критик. В упомянутой Писаревым статье выступал на защиту «чистого» искусства, отгораживающегося от актуальных вопросов общественной жизни.

²¹ *Карл V* (1500—1558) — испанский король и император «священной Римской империи»; в 1556 г. отрёкся от престола и удалился в монастырь св. Юста в Эстремадуре, где и закончил жизнь в уединении.

²² *Хемницер* Иван Иванович (1745—1784) — баснописец. В басне «Метафизик» высмеивал людей, живущих исключительно в области размышления и отгораживающихся от живой жизни с её потребностями и интересами.

²³ *Колбасин* Е. Я. — беллетрист и критик. *Карнович* Е. П. — беллетрист и историк. *Фёдоров* С. Н. — беллетрист и драматург, сотрудник

«Современника». Основский Н. А. — беллетрист, автор книги об охоте. Вахновская С. — псевдоним Лодыженской Е. А., беллетристки 50-х годов, сотрудницы «Русского вестника». Нарская Е. — псевдоним Шаликовой Н., кн., беллетристки, сотрудницы того же журнала. Кугушев Г. В., кн. — беллетрист и драматург. Все перечисленные писатели в 50 и 60-х годах усердно снабжали своими произведениями редакции тогдашних журналов, но вскоре были совершенно забыты читателями.

²⁴ Говоря об «обличительном мусоре», завалившем журналы в 1857—1858 гг., Писарев имеет в виду бесчисленные рассказы и очерки, наполнявшие тогдашние журналы и ставившие своей целью разоблачение отдельных злоупотреблений и случаев беззаконий. Эти рассказы, лишённые всяких претензий на художественность, в большинстве случаев не имели и общественного значения, так как рассматривали отдельные злоупотребления вне связи их с политической системой, породившей их.

²⁵ — бов или Н. — бов — псевдоним Н. А. Добролюбова.

²⁶ Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — литературный критик. Точное название статьи Григорьева, упомянутой Писаревым, — «Реализм и идеализм в нашей литературе» («Светоч» № 4, 1861).

²⁷ Вагнер Николай Петрович (1829—1907) — зоолог, профессор Петербургского университета и беллетрист; статья его, о которой говорит Писарев, была напечатана в «Отечественных записках» № 8 за 1860 г.

²⁸ Нестор (1056—1114) — монах Киево-Печерского монастыря, один из крупнейших летописцев древней Руси, автор «Сказаний о Борисе и Глебе» и «Жития Феодосия». В 1112 г. составил летописный свод «Повесть Временных лет», дошедший до нас в позднейших редакциях.

²⁹ Штейнтал Гейманн (1823—1890) — языковед. Упомянутая Писаревым брошюра его «Языкоzнание В. Гумбольдта и философия Гегеля» вышла в 1848 г.

³⁰ Гайм Рудольф (1821—1901) — немецкий историк философии и литературы; его книга «Гегель и его время» в 1861 г. вышла в русском переводе.

³¹ Новицкий О. М. (1806—1884) — философ-идеалист, профессор Киевского университета. Резкая критика взглядов Новицкого дана Н. Г. Чернышевским в рецензии на его книгу «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований».

³² Составителем «Философского лексикона», начавшего выходить в 1861 г., был профессор Киевского университета С. С. Гогоцкий (1813—1889), философ-идеалист, стоявший на чисто богословских позициях, мистик и реакционер.

³³ Разбору «Философского лексикона» М. А. Антонович посвятил статью «Современная философия» («Современник» № 2, 1861).

³⁴ Лавров Пётр Лаврович (1823—1900) — известный революционный деятель, эмигрант, теоретик народничества. Писарев имеет в виду следующие его статьи: «Гегелизм», «Практическая философия Гегеля», «Механическая теория мира», «Современные германские тексты».

³⁵ Философский камень и жизненный эликсир — таинственные вещества, в существование которых верили алхимики, старавшиеся открыть их. Философский камень, по их мнению, обладал способностью превращать в золото все металлы, а жизненный эликсир являлся универсальным лекарством, омолаживающим состарившиеся организмы. *Perpetuum mobile* — вечный двигатель, над изобретением которого в течение столетий тщетно билась человеческая мысль.

³⁶ Статья М. А. Антоновича, о которой пишет Писарев, называлась «Два типа современных философов»; разбору лекций Лаврова была посвящена лишь часть этой статьи.

³⁷ *Страхов* Николай Николаевич (1828—1896) — публицист, литературный критик и философ-идеалист. Мироизречение Страхова сложилось под сильным влиянием философии Гегеля, воспринятой им в правогегельянском духе. *Эдельсон* Евгений Николаевич (1824—1868) — литературный критик, сторонник «чистого» искусства. Писал также по вопросам философии, полемизируя против материализма.

«ПЧЁЛЫ»

(Стр. 78—101)

Впервые напечатано в IX части прижизненного издания *Сочинений Писарева*, вышедшей в свет в 1868 г. (стр. 1—23). При прохождении цензуры статья в самом конце подверглась, повидимому, сокращениям. В таком урезанном виде она печаталась во всех изданиях, так как восстановить изъятые цензурой места до сих пор не удалось.

³⁸ Изречение, приписываемое французскому королю Людовику XIV.

³⁹ *Миль* Джон-Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, политический деятель, представитель буржуазной политэкономии. В названной Писаревым книге «О свободе» обосновал право государства на вмешательство в частную жизнь и стеснение свободы граждан в общественных целях.

⁴⁰ *Окен* Лоренц (1779—1851) — германский натурфилософ и естествоиспытатель. Несмотря на произвольность и фантастичность представлений Окена о природе, ему удалось сделать некоторые открытия в области естествознания.

⁴¹ *Леди Макбет* — герояня трагедии Шекспира «Макбет». *Медея* — волшебница из древнегреческого сказания. Обе отличались бурными страстями, властным характером и для достижения поставленной цели не останавливались перед преступлением.

⁴² *Елизавета* (1533—1603) — английская королева. Граф *Лейстер* Роберт-Дедлей (1532—1588) — её фаворит.

⁴³ *Олений парк* — часть королевского парка в Версале, в которой находился уединённый охотничий домик, служивший местом для любовных свиданий короля.

⁴⁴ *Далай-лама* — выборный глава церковной и светской власти в Тибете, считающийся священным как земное воплощение Будды.

⁴⁵ *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк и политический деятель умеренно-либерального направления. Во время июльской монархии неоднократно был министром, а с 1840 г. — главой кабинета, выступавшим в роли представителя интересов финансово-промышленной олигархии. После революции 1848 г. бежал в Англию и отошёл от участия в политической деятельности.

СТАТЬЯ О ШЕДО-ФЕРРОТИ

(Стр. 102—109)

Статья эта была напечатана впервые в первом издании книги М. К. Лемке «Политические процессы в России 60-х годов» (1907) с цензурными сокращениями, которые были восстановлены во втором издании этой книги (1923). Для данного издания берём текст из второго издания книги М. К. Лемке.

В деле о Писареве, хранящемся в Архиве революции и внешней политики в Москве, подлинник этой статьи Писарева, попавший в руки жандармов при аресте тайной типографии студента Баллода, отсутствует.

вет. В деле правительствуемого сената 5-го департамента I отделения о «студенте Баллоде, Рымаренко и др.», 1863 г., № 7, т. IV (275—296), хранящемся там же в архиве, имеется канцелярской рукой снятая копия этой статьи Писарева. Существенных расхождений между этой копией и печатным текстом не имеется.

Писарев в своём показании от 11 августа 1862 г. указал на обстоятельства, при которых им была написана эта статья: «Впечатления эти были: закрытие воскресных школ и читален, закрытие Шахматного клуба, приостановление журналов «Современник» и «Русское слово», упразднение II отделения Литературного фонда» (М. К. Лемке, Политические процессы в России 60-х годов, Гиз, изд. 2-е, 1923, стр. 562). Писарев, однако, не указывает основной побудительной причины — подъёма революционного движения в стране в связи с многочисленными крестьянскими восстаниями, происходившими весной 1862 г. Эти события и вызвали подъём революционного настроения Писарева, отразившийся на этой статье.

⁴⁶ *Шедо-Ферроти* — литературный псевдоним барона Ф. И. Фиркса, агента русского правительства, автора ряда брошюр о России и русских делах, в том числе брошюры против Герцена, изданной на русском и французском языках и допущенной к свободному распространению в России.

⁴⁷ *Лебедев* Владимир Александрович — товарищ Писарева по университету. В октябре 1861 г. при аресте во время студенческих волнений был ранен в голову. В 1866 г. привлекался по делу Каракозова.

⁴⁸ *Валуев* Пётр Александрович (1814—1890), граф — беспринципный карьерист, в 1861—1868 гг. — министр внутренних дел. Вместе с А. В. Никитенко организовал с 1862 г. газету министерства внутренних дел «Северная почта», о которой и говорит Писарев. *Никитенко* Александр Васильевич (1805—1877) — историк литературы, цензор, редактор газеты «Северная почта».

⁴⁹ *Чичерин* Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, историк, профессор Московского университета, монахист. Писарев здесь намекает на то, что 1 января 1862 г. министр народного просвещения предписал цензуре не допускать никаких резкостей и оскорблений по адресу Чичерина, в то время сотрудника реакционной газеты «Наше время».

⁵⁰ *Михайлов* Михаил Ларионович (1826—1865) — известный поэт-революционер, переводчик и беллетрист. В 1861 г. был арестован за распространение прокламаций «К молодому поколению» и сослан на каторгу, где и погиб. *Обручев* Владимир Александрович — офицер генерального штаба, сотрудник «Современника» в 1861 г.; был арестован и приговорён к каторжным работам на 3 года за распространение прокламаций «Великорусс».

⁵¹ Согласно прокламации, изданной в 1862 г., подвиг Александрова состоял в том, что, получив по телеграфу для передачи наместнику в Варшаве графу Лидерсу приказ царя по поводу ожидавшейся демонстрации в Варшаве «разогнать холодным оружием, а если нужно, то употреблять картечь», — передал Лидерсу, что приказано действовать увещаниями. За это Александров был приговорён к расстрелу, заменённому бессрочной каторгой. Никаких архивных документов, касающихся Александрова и его судьбы, до сих пор не обнаружено.

⁵² *Антон Петров* — крестьянин села Бездны Казанской губернии, руководитель крестьянского восстания, возникшего в связи с объявлением манифеста об освобождении крестьян. Расстрелян 17 апреля 1861 г.

⁵³ Говоря об «истории со студентами», Писарев имеет в виду студенческие волнения, разыгравшиеся осенью 1861 г. в Петербурге, Москве и

Казани и сопровождавшиеся уличными демонстрациями и столкновениями студентов с полицией и войсками.

⁵⁴ В Варшаве в 1861—1862 гг. происходили волнения, для подавления которых правительство прибегало к помощи военной силы.

⁵⁵ *Брут и Кассий* — организаторы аристократического заговора против Юлия Цезаря и участники его убийства. Писарев имеет в виду статью Герцена «Бруты и Кассии III отделения», ответом на которую являлась брошюра Шедо-Ферроти. В этой статье Герцен рассказывал, что им получено предупреждение относительно покушения, подготавливаемого против него агентами русской политической полиции.

⁵⁶ *Булгарин* Фаддей Бенедикович (1789—1859) — журналист, критик, беллетрист, состоявший агентом III отделения. Его имя — синоним политического доносчика и продажного писаки. *Аскоченский* Виктор Ипатьевич — реакционный писатель и издатель известной своим мракобесием и политическими доносами газеты «Домашняя беседа». *Зотов* Рафаил Михайлович — беллетрист и драматург, принадлежавший к реакционному лагерю. *Скарягин* Владимир Дмитриевич — реакционный публицист 1860-х годов, редактор крепостнической газеты «Весть». *Корф* Модест Андреевич, граф — автор написанной по распоряжению Александра II книги «Восшествие на престол императора Николая I»; эта грубо тенденциозная книга содержала в себе клевету по адресу декабристов.

⁵⁷ *Бруннов* Филипп Иванович (1797—1875) — дипломат, русский посол в Лондоне. Статья Герцена «Бруты и Кассии III отделения» была написана в форме письма к Брунову.

⁵⁸ *Спадасины* — наёмные убийцы.

⁵⁹ Цитата заимствована из баллады Шиллера «Порука», в которой говорилось о покушении на Дионисия Старшего, тирана Сиракузского.

⁶⁰ Большие пожары, произошедшие в Петербурге в мае 1862 г., были провокационно использованы правительством для обвинения революционеров в поджогах и в целях борьбы с революционным движением.

⁶¹ Речь идёт о «Современнике» Некрасова и «Русском слове», где работал Писарев; оба журнала были приостановлены в июне 1862 г. на восемь месяцев.

«ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА»

(Стр. 132—248)

Впервые напечатано в журнале «Русское слово» за 1863 г., в сентябрьской и ноябрьско-декабрьской книгах. В сентябрьской книге помещены были первые 12 глав (датированы 23 августа 1863 г.), в ноябрьско-декабрьской книге — остальные 11 глав, которые в отдельном издании составили главы XIII—XXIII и датированы 17 сентября 1863 г. Здесь печатаем по журнальному тексту и по тексту первого издания Сочинений Д. И. Писарева, ч. VII, 1866, стр. 75—185.

Статья эта была написана Писаревым во время пребывания в Алексеевском равелине.

Текст этой статьи в разных изданиях претерпел большие изменения. Самое название статьи «Очерки по истории труда» начиная со второго издания было заменено другим: «Зарождение культуры», с каким она печаталась вплоть до революции. Несомненно, в этом сказалось воздействие цензуры. Ещё в 1866 г., пропуская в свет часть VII первого издания Сочинений Д. И. Писарева, где была напечатана эта статья, цензор Скуратов обратил на неё особое внимание и так охарактеризовал её: «Хотя... статья написана весьма умеренным тоном, но и в ней

нельзя не заметить социалистических тенденций. Автор постоянно проводит ту мысль, что в основании всего человеческого общества как древнего, так и нового легло присвоение чужого труда, угнетение или эксплуатация слабых и бедных богатыми и сильными и что улучшения можно ждать не от улучшения религиозных или нравственных понятий, а от лучшего понятия людьми их собственных выгод. Эти мысли,—писал цензор,—особено рельефно выступают наружу в местах, отмеченных на страницах 108, 117, 128, 129, 130, 131, 135, 162, 174 и 180».

Особенно значительны сокращения текста этой статьи в изданиях 1894 и 1897 гг. Изъяты были из текста все осуждения журирующего меньшинства (в главах IV и VI), упоминание о критике Чернышевским закона Мальтуса о народонаселении (в главе VII), противопоставление капиталистов-эксплоататоров и пролетариата (в главах VII и VIII), рассуждения о паразитах, поглощающих продукты чужого труда, и о трудащемся большинстве (в главах VII и IX), о нигилизме и Базарове (в главе XII), о присвоении труда капиталистическим государством (в главе XIII), о роли купца-эксплоататора (в главе XV), о вечной войне между трудом и капиталом (несколько страниц в главе XIX) и т. п. Огромны сокращения в конце статьи. Целый абзац в главе XX, смысл которого в том, что Писарев вскрывает эксплуатацию рабочего фабрикантом и показывает оборотную сторону буржуазного прогресса, заменён фразой о промышленном прогрессе, абстрактным утверждением, что такой прогресс есть мерилом благосостояния страны.

⁶² *Хеопс* — египетский фараон III тысячелетия до н. э. При сооружении величайшей «хеопсовой» пирамиды погибло, по словам греческого историка Геродота, огромное количество рабов. Вероятно, это сообщение Геродота и имеет в виду Писарев, говоря о «суворой воле» Хеопса.

⁶³ *Кэри* Генри (1793—1879) — американский буржуазный экономист, в основе теории которого лежало признание гармонии интересов различных классов общества. Понятно поэтому, что проникнутая яркими социалистическими идеями статья Писарева отнюдь не была популяризацией идей Кэри. Ссылка на этого экономиста, повидимому, была нужна Писареву для того, чтобы усыпить бдительность цензуры.

⁶⁴ *Линней* Карл (1707—1778) — выдающийся шведский естествоиспытатель, разработавший классификацию всех растений по родам и видам.

⁶⁵ *Пандора* — по греческой мифологии, женщина, получившая от Зевса на хранение ящик, в котором были заключены все человеческие несчастья. Из любопытства Пандора открыла крышку ящика и таким образом выпустила на свет все несчастья.

⁶⁶ *Квакеры* — мистическая секта; получила распространение преимущественно в Англии и Северной Америке. Отрицательное отношение квакеров к католицизму и протестантизму, вытекавшее из их убеждения, что истинная вера не связана догматами, а свободна и коренится в сердце человека, вызвало гонение, направленное против них со стороны господствующих вероисповеданий. Под влиянием этих гонений часть квакеров переселилась в Америку и основала там колонию Нью-Джерси.

⁶⁷ *Пизар* (Пизарро) Франсиско (1475—1541) — испанец, искатель приключений, завоевавший Перу.

⁶⁸ *Вильгельм I Завоеватель* — нормандский герцог, завоевавший Англию; в 1066—1087 гг. — английский король.

⁶⁹ *Плантагенеты* — английская королевская династия XII—XIV веков.

⁷⁰ *Мария Стюарт* (1542—1587) — шотландская королева, претендовавшая на английский престол. Изгнанная из Шотландии восставшими феодалами, укрылась в Англии. Участвовала в заговоре реакционной и

католической части английского дворянства против королевы Елизаветы, стоявшей на стороне реформационного движения. После раскрытия заговора предана суду и казнена.

⁷¹ *Капетинги* — французская королевская династия, правившая в X—XIV веках. *Людовик IX Святой* — французский король, царствовавший с 1226 по 1270 г. *Филипп Август* — французский король с 1180 по 1223 г.

⁷² *Тенгоборский* Людвиг Валерианович (1793—1857) — экономист и статистик, член Государственного совета, автор ряда ценных по материалу экономических работ, в том числе «О производительных силах России» (1854—1858), являвшейся первой попыткой систематического и всестороннего исследования в области хозяйственной статистики России.

⁷³ *Аттила* (ум. 453) — вождь кочевого народа гуннов, создавший государство, простиравшееся от Волги до Рейна и распавшееся после его смерти. Известен своей жестокостью по отношению к населению завоеванных стран.

⁷⁴ *Ромул* — легендарный основатель и первый царь Рима.

⁷⁵ *Шлейден* Маттиас-Якоб (1804—1881) — известный немецкий ботаник, профессор Иенского университета. Упомянутая Писаревым его книга «Растение и его жизнь» была переведена на русский язык.

⁷⁶ *Либих* Юстус (1803—1873) — немецкий химик, один из создателей агрономической химии, в частности учения о минеральных удобрениях. *Берцелиус* Иоганн-Якоб (1779—1848) — шведский химик, автор работ по атомной теории, разработал общепринятую позднее систему химических знаков. *Дэви* Гемфри (1778—1829) — английский химик, открывший натрий, калий, барий и др. *Лавуазье* Антуан-Лоран (1743—1794) — французский химик, основатель современной химии, сделавший ряд важных открытий и установивший закон сохранения материи. Независимо от Лавуазье этот закон был сформулирован великим русским учёным М. В. Ломоносовым.

⁷⁷ *Тантал* — по греческой мифологии, фригийский царь, угостивший богов на пику телом собственного сына. В наказание за это преступление был осуждён богами вечно стоять в воде под спелыми плодами и томиться жаждой и голодом. Отсюда выражение «муки Тантала».

⁷⁸ *Тамберлик* Энрико (1820—1889) — итальянский певец, тенор, неоднократно гастролировавший в России.

⁷⁹ Цитата из романа Тургенева «Отцы и дети» (1862).

⁸⁰ *Нерон* — римский император с 54 по 68 г., бесчеловечный тиран, одержимый манией величия.

⁸¹ *Оберон* и *Титания* — по французской легенде, король и королева эльфов. Легенда эта была использована рядом писателей, в том числе Шекспиром в пьесе «Сон в летнюю ночь».

⁸² *Мак-Куллох* Джон (1789—1864) — английский вульгарный экономист, эпигон классической школы.

⁸³ *Железная маска* — таинственный узник, содержавшийся в Бастилии в XVII веке.

⁸⁴ *Мюнхенская глиптотека* — музей скульптуры в Мюнхене.

⁸⁵ *Армстронг* и *Уайтворт* — владельцы оружейных заводов в Англии, снабжавшие в середине XIX века оружием большинство государств.

⁸⁶ «*Мерримак*» и «*Монитор*» — броненосные суда, прославившиеся во время гражданской войны в Америке между Северными и Южными штатами в 1861—1865 гг. «*Мерримак*» принадлежал южанам; в 1862 г. он потопил два фрегата северян и принялся за уничтожение третьего, но в это время был настигнут не менее сильным броненосцем северян «*Монитором*» и был вынужден отступить.

⁸⁷ *Конскрипция* — система всеобщей воинской повинности.

«ПРОГРЕСС В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ»

(Стр. 249—267)

Напечатано впервые в журнале «Русское слово», в 1864 г., в апрельской, майской, июньской, июльской и сентябрьской книгах. Мы печатаем только введение и заключение по тексту первого издания Сочинений Д. И. Писарева, ч. VI, 1866, стр. 97—108 и 273—279.

Статья была написана Писаревым во время его пребывания в Петровпавловской крепости.

⁸⁸ *Жоффруа Сент-Илер* Этьен (1772—1844) — французский зоолог, один из предшественников учения об изменяемости видов, признававший единство происхождения всех животных. *Катрфаж де Брео* (1810—1892) — французский естествоиспытатель, автор переведённой на русский язык книги «Единство человеческого рода».

⁸⁹ *Лайель* Чарльз (1797—1875) — знаменитый английский геолог, создатель современной геологии, обосновавший историю образования и развития земной коры.

⁹⁰ *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — немецкий натуралист и путешественник, автор книги «Космос», содержавшей в себе научную картину мира во всех его проявлениях.

⁹¹ *Гукер* Иосиф-Дальтон (1816—1911) — американский ботаник, путешественник по Индии, Тибету и Марокко.

⁹² *Уоллес* Альфред-Россель (1822—1913) — английский естествоиспытатель, независимо от Дарвина пришедший к идеи об естественном подборе.

⁹³ *Рачинский* Сергей Александрович (1836—1902) — профессор ботаники Московского университета, в 1867 г. оставивший кафедру и занявшийся преподаванием в народной школе, основанной им в Смоленской губернии.

⁹⁴ *Гексли* Томас-Генри (1825—1895) — английский зоолог и анатом, последователь Дарвина, установивший место человека в системе животных и отношение человека к человекообразным обезьянам.

⁹⁵ *Агассиз* Луи (1807—1873) — известный естествоиспытатель, противник теории Дарвина.

⁹⁶ *Кандоль* Альфонс (род. 1806) и *Ноден* Шарль (род. 1815) — французские ботаники.

⁹⁷ *Шлейхер* Август (1821—1868) — немецкий филолог, стремившийся сблизить языкоковедение с естественными науками. Его работа «Теория Дарвина в применении к науке о языке» была издана в русском переводе.

⁹⁸ Об *Окене* см. примечание 40. *Гёте*, бывший не только замечательным поэтом, но и выдающимся естествоиспытателем, изучал изменение и развитие растительных и животных форм и может считаться одним из предшественников эволюционной теории. *Ламарк* Жан-Батист (1744—1829) — французский естествоиспытатель, в отличие от Дарвина считавший, что организмы изменяются не под влиянием естественного подбора на почве борьбы за существование, а под влиянием внешних условий, главным образом упражнения или отсутствия упражнения органов. О *Жоффруа Сент-Илере* см. примечание 88.

«ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ДОКТРИН»
(Стр. 268—329)

Впервые напечатано в сборнике «Луч» (1866). Здесь воспроизведётся по тексту Полного собрания сочинений Писарева, т. V, изд. 5-е, Спб. 1911, стр. 453—512.

⁹⁹ Под этим заглавием в сборнике «Луч» за 1866 г. были помещены главы XVII—XXIII статьи Писарева «Исторические идеи О. Конта».

¹⁰⁰ *Людовик XIV* (1638—1715) — французский король, царствование которого было эпохой высочайшего развития абсолютизма во Франции. Могущество короля внешне выражалось в чрезвычайной пышности его двора.

¹⁰¹ *Фрондой* называлось политическое движение во Франции в 1648—1653 гг., направленное против абсолютизма. На первых порах в этом движении принимала видное участие буржуазия, но постепенно руководящая роль перешла в руки феодальной верхушки, недовольной стеснением своих былых прав и привилегий. Движение это было подавлено королевской властью.

¹⁰² *Боссюэт Жак-Бенинь* (1627—1704) — французский епископ и писатель, сторонник абсолютной монархии.

¹⁰³ *Фридрих II* (1712—1786) — прусский король. Вёл захватническую политику по отношению к соседним странам. Типичный представитель прусского милитаризма. Стремился внешне показать себя сторонником просвещения, так называемого «просвещённого абсолютизма».

¹⁰⁴ *Филипп Орлеанский* (1674—1723), герцог — в 1715—1723 гг. регент Франции в малолетство короля Людовика XV (1715—1774). Его правление отличалось исключительной расточительностью. *Людовик XIV* по достижении совершеннолетия продолжал поддерживать ту же расточительность, которой французский двор отличался в годы регентства.

¹⁰⁵ *Магеллан Фернандо* (1470—1521) — португальский мореплаватель, первый организовал кругосветное путешествие, но на полпути был убит туземцами Филиппинских островов.

¹⁰⁶ *Иаков II* (1633—1701) — английский король, последний из династии Стюартов, в 1688 г. низвергнутый революцией.

¹⁰⁷ *Варфоломеевская ночь* — см. примечание 16.

¹⁰⁸ *Нантский эдикт*, изданный французским королём Генрихом IV в 1598 г., признал за гугенотами свободу вероисповедания и право занимать государственные должности. Этим был положен конец продолжительным междуусобицам, разорявшим Францию. При Людовике XIV Нантский эдикт был отменён.

¹⁰⁹ *Бейль Пьер* (1647—1706) — французский писатель, скептик, автор «Философского словаря».

¹¹⁰ *Фонтенель Бернар* (1657—1757) — французский писатель, скептик по убеждениям, отрицательно относился к догматам католической религии.

¹¹¹ *Геттнер Герман-Теодор* (1821—1882) — немецкий историк литературы, автор «Истории всеобщей литературы XVIII столетия», переведённой на русский язык.

¹¹² *Корнель Пьер* (1606—1684) — французский драматург, один из виднейших представителей классической школы в литературе.

¹¹³ *Морис Саксонский* (1696—1750) — полководец-авантюрист, служивший в польском, саксонском, австрийском и французском войсках.

¹¹⁴ *Маркиз Поза* — действующее лицо трагедии Шиллера «Дон Карлос».

¹¹⁵ *Гельвеций Клод-Адриен* (1715—1771) — французский философ-материалист; автор работ «Об уме» и «О человеке».

¹¹⁶ *Фома Аквинский* (1225—1274) — один из виднейших представителей средневековой схоластики. *Бэкон Роджер* (1214—1294) — английский монах-философ, считавший опыт источником знания и боровшийся против схоластики. *Альберт Великий* (1193—1280) — один из видных представителей средневековой схоластики, пытавшийся обосновать католическое богословие при помощи философской системы Аристотеля.

¹¹⁷ *Кондорсе Жан-Антуан* (1743—1794) — французский политический деятель и писатель, участник французской революции 1789 г., во время которой принадлежал к жирондистам. Написал одну из первых по времени биографий Вольтера.

¹¹⁸ В дореволюционной Франции *парламентами* назывались вначале судебные органы, имевшие право делать возражения против королевских указов, с которыми они не были согласны. Это право приводило к ряду столкновений между парламентами и королевской властью. Министр Людовика XV Мопу сделал в 1771 г. попытку уничтожить парламенты; однако вскоре их пришлось восстановить, и они продолжали играть оппозиционную роль.

¹¹⁹ *Конти Людовик-Франсуа, принц* (1717—1777) — французский политический деятель, поддерживал парламенты в их борьбе против министерства Тюро и начатых им реформ и тем ускоривший его падение.

¹²⁰ *Граф д'Артуа, позднее Карл X* (1757—1836) — брат французского короля Людовика XVI. В 1824—1830 гг. — французский король, проводивший крайне реакционную политику и свергнутый революцией 1830 г.

¹²¹ *Ла-Меттри Жюльен-Офре* (1709—1751) — французский философ-материалист; автор работ «Человек-машина», «Человек-растение», «Система Эпикура» и др.

¹²² *Кондильяк Этьен-Бонно* (1715—1780) — французский философ-сенсуалист; автор «Трактата об ощущениях» и других работ.

¹²³ *Морелли* — французский политический писатель XVIII века, автор коммунистического трактата «Кодекс природы», в котором выводил неизбежность коммунизма из особенностей человеческой природы.

¹²⁴ *Д'Аржансон Рене-Луи де Войе, маркиз* (1694—1757) — французский политический писатель, противник привилегий дворянства.

¹²⁵ *Бюффон Жорж* (1707—1788) — выдающийся французский натуралист, автор многотомной «Естественной истории»; один из предшественников эволюционной теории, считавший, что все организмы происходят от одного первичного организма путем совершенствования, с одной стороны, и дегенерации — с другой. *Гримм* — см. примечание 138.

¹²⁶ *Кенэ Франсуа* (1694—1774) — французский экономист, основатель школы физиократов, считавший производительным лишь земледельческий труд.

¹²⁷ *Юм Давид* (1711—1776) — английский философ-идеалист.

¹²⁸ *Шуазель Этьен-Франсуа, герцог* (1719—1785) — французский политический деятель.

¹²⁹ *Гурнэ Жан-Клод-Мари-Винцент* (1712—1759) — французский экономист, сторонник широкого развития свободной конкуренции и невмешательства государства в экономические отношения.

¹³⁰ *Мерсье де ла Ривье Поль-Пьер* (1720—1794) — французский экономист, последователь школы физиократов, в области политики был сторонником абсолютной монархии.

¹³¹ *Гольбах Поль, барон* (1723—1789) — французский философ-материалист, автор трактата «Система природы» (1770), являвшегося ярким и последовательным изложением материалистических и атеистических идей.

132 *Галиани* Фердинандо (1728—1787) — аббат, итальянский экономист, полемизировавший с физиократами по вопросу о свободной торговле хлебом, к которой он относился отрицательно.

133 Знаменитому французскому драматургу *Бомарше* (1732—1799) пришлось вести несколько судебных процессов, крайне затянувшихся вследствие нелепых судебных порядков того времени и решённых не в пользу Бомарше. Возмущённый несправедливостью решений, писатель опубликовал две записки, в которых искусно придал своим процессам характер общественного дела и разоблачил злоупотребления, допущенные судом и бывшие тогда обычным явлением.

134 *Тюрго* Анн-Роберт-Жак (1727—1781) — французский политический деятель и писатель. По своим взглядам Тюрго примыкал к физиократам.

135 *Мабли* Габриель (1709—1785) — французский политический писатель, видевший в первобытном коммунизме идеал общественных отношений. Резкой критике подвергал существующий строй.

136 *Неккер* Жак (1732—1804) — женевский банкир, руководивший в 1777—1781 и 1788—1790 гг. французскими финансами.

137 *Устрялов* Фёдор Николаевич (1836—1885) — журналист, драматург и переводчик. Его перевод на русский язык «Исповеди» Руссо был издан в 1865 г.

138 *Гrimm* Фридрих-Мельхиор (1723—1807) — дипломат и писатель, составлявший «Литературную, философскую и критическую корреспонденцию» (нечто вроде рукописной газеты), содержавшую в себе описание всех литературных, художественных и театральных новинок Парижа и рассыпавшуюся различным коронованным и высокопоставленным лицам, с которыми Гrimm находился в переписке.

139 *Екклезиаст* — одна из книг, составляющих библию и излагающая миросозерцание, проникнутое глубоким пессимизмом и разочарованием в жизни.

140 *Альба* Фердинанд, герцог (1507—1582) — испанский политический деятель, правитель Нидерландов, кровавым террором пытавшийся подавить начавшуюся там революцию, но безуспешно. *Торквемада* Томас (1420—1498) — испанский инквизитор; скончался около 10 тысяч человек; изгнал из Испании мавров и евреев. *Ле Теллье* Мишель (1603—1685) — французский политический деятель при Людовике XIV; будучи канцлером, с непримиримой враждой относился к протестантам и содействовал отмене Нантского эдикта (см. примечание 108).

141 *Шомет* Пьер-Гаспар (1763—1794) — деятель французской революции, прокурор Парижской Коммуны, вождь левого крыла якобинцев. *Казнён. Клоц* Анахарис — деятель французской революции; будучи членом Конвента, вёл упорную борьбу против религии.

142 *Питт* Вильям Младший (1759—1806) — английский политический деятель, в 1782—1801 и 1804—1806 гг. премьер-министр, руководивший борьбой против революционной и наполеоновской Франции.

«ГЕНРИХ ГЕЙНЕ»

(Стр. 330—385)

Впервые напечатана в IV части прижизненного издания Сочинений Писарева, появившейся в свет в 1867 г., стр. 48—100. В издании 1897 г. (том II) была напечатана в числе статей 1862 г., но никакой даты под самой статьёй в этом издании не имеется. Между тем такая датировка этой статьи опровергается её содержанием. В ней упоминается о выходе в свет одиннадцати томов «Сочинений Генриха Гейне в переводе рус-

ских писателей» под редакцией П. И. Вейнберга, выходивших в свет с 1864 г. XI том этого издания был издан в конце 1866 г., а это показывает, что статья Писарева была написана в конце 1866 или в 1867 г.

¹⁴³ О *Либихе* см. примечание 76. *Вагнер* Рудольф (1805—1864)—немецкий физиолог и психолог; придерживаясь идеалистической точки зрения, полемизировал против вульгарных материалистов К. Фогта и Молешотта. *Вайц* Теодор (1821—1864)—немецкий психолог и антрополог, стоявший на идеалистических позициях и пытавшийся положить в основу естественных наук философскую систему Канта.

¹⁴⁴ *Конт* Огюст (1798—1857)—французский философ-позитивист и математик. Агностик и противник материализма, Конт конечной задачей своей философии считал обоснование новой «религии человечества».

¹⁴⁵ *Мальтузианство*—реакционная теория, созданная Робертом Мальтузом (1766—1834), английским буржуазным экономистом; согласно этой теории нищета масс вызывается обусловленными якобы самими законами природы избытком населения и недостатком средств потребления, а не условиями капиталистического производства.

¹⁴⁶ *Вейнберг* Пётр Исаевич (1830—1908)—поэт, переводчик и журналист либерального направления.

¹⁴⁷ *Уланд* Людвиг (1787—1862)—немецкий поэт романтической школы, идеализировавший в своих балладах и песнях средневековье. *Шефер* Леопольд (1784—1862)—немецкий поэт и беллетрист. *Гейбель* Эммануэль (1815—1884)—немецкий поэт-романтик.

¹⁴⁸ *Мистагог*—древнегреческий жрец при мистериях, посвящённый во все таинства, связанные со служением божеству. *Нерофант*—старший жрец при таинствах, состоявших из мистических представлений, изображавших мучения грешников и блаженство праведников в загробной жизни.

¹⁴⁹ *Гудсон* Ло (1770—1844)—губернатор острова Св. Елены во время заключения там Наполеона. *Лас-Каза* Эммануэль-Огюст (1766—1842)—друг Наполеона, последовавший за ним на остров Св. Елены. Напечатал после смерти Наполеона свои воспоминания («Memorial de S-te Hélène»), вызвавшие резкое опровержение со стороны Гудсона Ло. *Омеар* Барри-Эдвард (1780—1836)—врач Наполеона на острове Св. Елены, хирург. Из-за ссоры с губернатором острова Гудсоном Ло в 1818 г. был выслан с острова. *Антомарки* Франческо (1780—1838)—врач, живший при Наполеоне на острове Св. Елены.

¹⁵⁰ *Пелион* и *Осса*—горы в Фессалии (Греция). Осса близко подходит своими отрогами к Пелиону, отсюда предание, что титаны нагромоздили на Оссе Пелион.

¹⁵¹ *Атлас*—мифический титан, которого Юпитер в наказание за участие в войне против богов заставил держать на плечах небесный свод.

¹⁵² *Давалагири* и *Гумалари*—вершины Гималаев, одни из самых высоких в мире.

¹⁵³ *Меттерних* Клеменс (1773—1859)—австрийский канцлер в 1809—1848 гг., организатор и вдохновитель реакционного «священного союза» (1815), организованного Австрией, Пруссией и Россией в целях борьбы с революционным движением.

¹⁵⁴ *Лессинг* Готгольд-Эфраим (1729—1781)—драматург и литературный критик эпохи буржуазного просвещения XVIII века в Германии.

¹⁵⁵ *Гуго Капет*—король Франции, родоначальник династии Капетингов, правившей с 987 по 1328 г.

¹⁵⁶ Французский король Людовик XVIII (1755—1824) был фактически семнадцатым Людовиком на престоле, так как сын Людовика XVI, казнённого революцией, умер малолетним и королём не был.

¹⁵⁷ «Бесподобной палатой» Людовик XVIII прозвал созданную после реставрации Бурбонов палату, состоявшую из крайне реакционно настроенных представителей феодальной аристократии.

¹⁵⁸ Франц II (1768—1835)—император австрийский с 1792 г., участник войн против революционной и наполеоновской Франции. Веллингтон Артур-Уэльси, герцог (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель, консерватор; разбил Наполеона при Ватерлоо в 1815 г. Возглавлял в 1828—1830 гг. английский кабинет, проводя крайне реакционную политику. Лондондерри Роберт, он же виконт Кестлри (1769—1822) — консерватор, министр иностранных дел, руководивший английской политикой в эпоху разгрома Наполеона I и Венского конгресса.

¹⁵⁹ Гракхи Тиберий и Кай — знаменитые римские трибуны. Тиберий (163—133 до н. э.) провёл закон о предоставлении государственной земли малоземельным крестьянам. Кай (153—121 до н. э.) ограничил власть сената и пытался расширить права крестьян.

¹⁶⁰ Жиронда — партия крупной буржуазии в эпоху французской революции 1789 г.

¹⁶¹ Лигурин и Делия — персонажи стихотворений римского поэта Горация (65—8 до н. э.).

¹⁶² Мильтон Джон (1608—1674) — поэт и публицист, участник революции 1648 г., противник роялистов, республиканец. Клопшток Фридрих-Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, один из основателей новой буржуазной литературы в Германии.

¹⁶³ Берне Людвиг (1786—1837) — немецкий публицист радикального направления, вождь «Молодой Германии».

¹⁶⁴ Мирабо Оноре-Габриэль-Рикетти (1749—1791) — политический деятель французской революции.

¹⁶⁵ Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI, казнённая за участие в организации заговора против порядков, установленных революцией.

¹⁶⁶ Лафайет Мари (1757—1834) — генерал, один из организаторов расстрела революционных манифестантов на Марсовом поле в 1791 г.

¹⁶⁷ Румфордовский суп полезности — филантропическое мероприятие английского физика Румфорда, который для неимущих людей «изобрёл» так называемый «суп полезности» из костей и других животных отбросов.

¹⁶⁸ Соловьёв Николай (1831—1874) — реакционный критик, противник Писарева и Чернышевского.

¹⁶⁹ «Молодая Германия» — группа литераторов либерального направления, выступавшая против немецкого абсолютизма и дворянства.

¹⁷⁰ Тих Людвиг (1773—1853), Арним Людвиг-Иоаким (1781—1831) — немецкие писатели-романтики. Лаубе Генрих (1806—1884) и Гуцков Карл (1811—1878) — немецкие писатели, деятели «Молодой Германии».

¹⁷¹ Конвент — национальное собрание в годы французской революции, избранное после низложения короля на основе всеобщего избирательного права 20 сентября 1792 г.

¹⁷² Шлегели Август-Вильгельм (1767—1845) и его брат Фридрих (1772—1829) — немецкие философы и поэты, теоретики романтизма, реакционеры. Новалис — псевдоним Фридриха фон Гарденберга (1772—1801), немецкого писателя, реакционного романтика.

¹⁷³ *Менцель* Вольфганг (1798—1873) — реакционный публицист, вёл борьбу с «Молодой Германией» при помощи цензуры и полиции. *Масман* Ганс-Фердинанд (1797—1874) — немецкий филолог, реакционер.

¹⁷⁴ *Арминий* (16 до н. э.—19 н. э.) — вождь германского племени херусков.

¹⁷⁵ *18 брюмера* (название второго осеннего месяца в принятом во время революции календаре) — дата государственного переворота, совершённого Наполеоном 8 ноября 1799 г., низвергшим Директорию и ставшим первым консулом с диктаторской властью.

¹⁷⁶ *Мальборо* (Мэльборо) Джон-Черчилль (1650—1722) — английский полководец и государственный деятель, монархист.

¹⁷⁷ *Вандомская колонна* — сооружена в Париже Наполеоном I в 1806—1810 гг. в память о войне 1805 г.

¹⁷⁸ *Барбье Огюст* (1805—1882) — французский сатирик, прославившийся своими «Ямбами» (1830 г.), в которых он бичевал крупную буржуазию, захватившую власть после революции 1830 г.

¹⁷⁹ *Атилла* — см. примечание 73. *Чингисхан* (1155—1227) — монгольский завоеватель. *Тамерлан* (1336—1405) — потомок Чингисхана, основатель среднеазиатской империи, завоеватель, проявлявший чрезвычайную жестокость по отношению к покорённым народам. *Надир-шах* (1688—1747) — персидский завоеватель и правитель, известный своей жестокостью.

¹⁸⁰ *Агни, Варуна, Яма и Индра* — божества индусской мифологии.

¹⁸¹ *Наль и Дамаянти* — герой индийских сказаний. История их любви и страданий вошла в качестве эпизода в санскритскую эпическую поэму «Магабхарата».

«МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ»

(Стр. 386—433)

¹⁸² «Развлечение» — юмористический журнал, основанный в 1859 г. литератором Ф. Б. Миллером и просуществовавший до 1917 г.

¹⁸³ «Современник» (1836—1866) — журнал, основанный ещё А. С. Пушкиным. В 60-х годах — орган революционной демократии. Наивысшего расцвета достиг в годы, когда руководящей идеей силой в нём был Чернышевский (1856—1862).

¹⁸⁴ «Строгая и несправедливая рецензия г. Антоновича» — имеется в виду статья Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник» № 3, 1862), в которой роман Тургенева «Отцы и дети» и тип Базарова оценивались как пасквиль на молодое поколение и клеветнический pamphlet.

¹⁸⁵ *Альфа и омега* — первая и последняя буквы греческого алфавита, синоним выражения «начало и конец».

¹⁸⁶ *Гарибальди* Джузеппе (1807—1882) — вождь национально-демократического освободительного движения в Италии.

¹⁸⁷ *Роберт Оуэн* (1771—1858) — великий английский социалист-утопист. Находился под сильным влиянием философских идей французских материалистов (ведущая роль страсти, индивид как продукт среды, разумный эгоизм как руководящий принцип). Все эти идеи являются руководящими и для «новых людей», героев «Что делать?»

¹⁸⁸ *Талейран* Шарль-Морис (1754—1838) — выдающийся французский дипломат. Известен своими неоднократными переходами из одного политического лагеря в другой.

¹⁸⁹ *Фурье* Шарль (1772—1837) — великий французский социалист-утопист, давший блестящую критику буржуазного общества.

¹⁹⁰ *Рубикон* — река, служившая в древнем Риме границей между исконными римскими землями и Цизальпинской Галлией. Наместник Галлии не имел права без санкции сената переходить с войском Рубикон. Этот закон нарушил в 49 г. до н. э. Юлий Цезарь в разгар борьбы с Помпеем и сенатом и тем самым дал повод к гражданской войне. Отсюда выражение «перейти Рубикон» — значит сделать важный, решающий, бесповоротный шаг.

ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
154	4 сверху	незапятных	незапамятных
314	20 сверху	1755 году	1775 году

Д. И. Писарев. Избранные философские и общественно-политические статьи.